



אֶשְׁכּוֹלוֹת  
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ЭШКОЛОТ  
www.eshkolot.ru

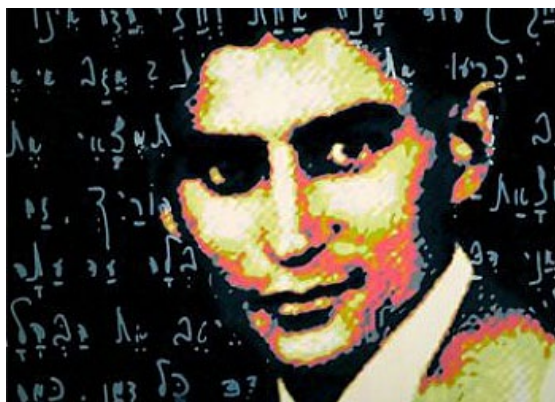
при поддержке

אבי אבי  
הי חנאי

---

# ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

## О НОВОМ ЕВРЕЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МЫШЛЕНИИ



Источники к мини-курсу  
проф. Дана Мирона

Москва  
июнь 2012 г.  
проект «Эшколот»  
www.eshkolot.ru

---

**Рабби Нахман из Брацлава  
(1772, Меджибож – 1810, Умань)**

### **БААЛЬ ТФИЛА<sup>1</sup>**

Жил некогда Бааль Тфила. Постоянно молился он и пел псалмы, восхваляя Всевышнего, да благословится Имя Его. Жил он вдали от людей, но часто посещал окрестные селения, где, как правило, проводил время в обществе бедных и обездоленных. Заводил он с ними беседы о смысле жизни человеческой, о том, ради чего существует мир, о том, что не должно быть для людей до самой их смерти иной цели кроме служения Б-гу. Убеждал он их, что человек должен проводить все свое свободное время в беседе со Всевышним, в молитвах и пении псалмов, прославляющих Его. Слова Бааль Тфила волновали людей, доходили до самого сердца, и бывало так, что, послушав такие речи, собеседник изъявлял желание присоединиться к нему. Забирал тогда Бааль Тфила такого человека с собою и приводил его к себе домой.

В уединенном месте, где жил Бааль Тфила, протекала речка и росли деревья, плодами которых питались он и его товарищи. С одеждой было у них просто: каждый носил то, в чем пришел из дому.

Продолжал Бааль Тфила, по своему обыкновению, ходить по селам, уговаривая людей следовать за ним по пути служения Б-гу; особое значение при этом придавал он молитве. Каждый раз среди его слушателей находились такие, кто был готов вести праведную жизнь, и Бааль Тфила забирал их с собою.

Время у них проходило в постоянных молитвах; они пели гимны, восхваляющие Всевышнего, исповедовались пред Ним, постились, смиряя свою плоть, каялись в совершенных грехах.

Давал Бааль Тфила своим товарищам составленные им самим молитвенники, сборники псалмов, благодарственных песен и покаянных исповедей; и все вместе с утра до вечера обращались они к Г-споду, и мудрые книги, которые они постоянно изучали, помогали им в этом.

Постепенно кто-то из них достигал такого уровня, что уже и сам был в состоянии помочь другим вернуться к Б-гу. Время от времени разрешал Бааль Тфила то тому, то другому из своих товарищей пойти в одно из селений, чтобы побуждать людей к служению Всевышнему. Все больше и больше последователей становилось у Бааль Тфила, они покидали свои дома и приходили к нему.

Тут в народе поднялся переполох: стали пропадать в этой стране люди, и никто не знал, куда они девались. У одного исчез сын, у другого – зять...

Все терялись в догадках, пока не прошел слух о Бааль Тфила: он, мол, ходит из села в село и уговаривает людей вернуться к Б-гу.

---

<sup>1</sup> "Бааль Тфила" – хазан; еврей, в совершенстве знающий молитвы и их порядок, человек, которому община доверяет вести от ее имени молитву в синагоге во время коллективного б-гослужения.

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

Пытались этого человека поймать, но безрезультатно, ибо был он очень умен: в одном доме появлялся под видом бедняка, в другом выдавал себя за купца – в каждом из мест он предстал в ином облике. К тому же, когда видел Бааль Тфила, что слова его до человека не доходят, он поворачивал разговор таким образом, что невозможно было догадаться об истинной цели его прихода – привлечь людей к Г-споду, да святится Имя Его. Невдомек было хозяину дома, что именно эту задачу ставил перед собой его гость. Почувствовав, что сердце собеседника перед ним закрыто, переводил Бааль Тфила разговор на другие темы так искусно, что хозяину и в голову не могло прийти, что гость намеревался вернуть его на путь служения Всевышнему.

Слух об этом загадочном человеке прошел по всему свету, но поймать его никак не удавалось.

А Бааль Тфила, возвращаясь в свой уединенный дом, продолжал молиться вместе с товарищами, петь гимны, восхваляющие Б-га, исповедоваться пред Ним, поститься, смиряя плоть, и каяться в совершенных грехах. Все свободное время проводили они в этих занятиях.

Каждому из своих друзей давал Бааль Тфила все необходимое: если видел он, например, что один из них находится на таком уровне, что для служения Всевышнему ему нужны расшитые золотом одежды, то давал их ему. Бывало и наоборот. Присоединился к ним однажды некий богач, которого Бааль Тфила привел с собою. Понял Бааль Тфила, что тому богачу следует ходить в рубище, и сказал ему об этом. Так он поступал с каждым из своих товарищей, давая человеку то, в чем тот, по его мнению, нуждался. И для людей, которых он приблизил к Г-споду, пост и смирение плоти стали дороже всех удовольствий мира, ибо они получали от этого огромное наслаждение...

Существовала в те времена одна богатейшая страна, все жители которой купались в роскоши. И заведен был у них такой странный порядок: судьба каждого из граждан зависела от степени его богатства. Определили они, сколько денег должно быть у человека, чтобы мог он занять то или иное положение в обществе. Все звания и все посты в этом государстве зависели от того богатства, которым обладали его граждане; а царем у них становился тот, чей капитал исчислялся особо установленной в этой стране суммой.

Было принято у них разделение на группы, символом каждой из которых был свой собственный флаг. Человеку, в зависимости от суммы его капитала принадлежавшему к той или иной из этих групп, присваивалось определенное звание и оказывались соответствующие почести. Тот, у кого денег было поменьше, относился к группе, чьим символом был один флаг, у кого побольше – к группе под другим флагом.

И поскольку положение в обществе каждого жителя этой страны зависело от степени его богатства, тот, кто обладал минимальной суммой, установленной для гражд-

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

дан этого государства, считался простолюдином; тот, у кого не было и этого минимума, приравнивался к животному или птице: у кого денег было побольше, считался, к примеру, львом в человеческом облике, у кого поменьше – всего лишь птицей. Так что были среди этих беднейших из богачей звери и птицы разных пород, ибо тех, кто был недостаточно богат, не признавали в этой стране за людей. Лишь от богатства зависели там честь и положение каждого.

Слухи о том, что есть на свете такая страна, распространились по всему миру. Дошли они и до Бааль Тфила. Услышав такое, тяжело вздохнул он и сказал:

– Б-г знает, до чего могут прийти эти люди!

Собрались тут несколько человек из окружения Бааль Тфила и, не испросив совета у своего учителя, отправились в ту страну, чтобы вывести ее жителей на правильный путь. Всею душой жалели они этих несчастных людей, охваченных любовью к деньгам. Да и сам Бааль Тфила сказал, что эта пагубная страсть может довести их Б-г знает до чего. Надеялись ученики Бааль Тфила, что им удастся излечить этот народ от безумия. Придя в эту страну, завели они прежде всего беседу с простолюдином – одним из тех, кто был там приравнен к животному. Объясняли ему ученики Бааль Тфила, что деньги не могут быть главной целью существования, ибо основное в жизни людей – служение Б-гу.

Однако слова их не доходили до этого человека, ибо привык он считать, что лишь в деньгах – весь смысл существования. Другой, попавшийся им на пути, тоже не желал их слушать. Когда ученики Бааль Тфила стали вразумлять его, он сказал:

– У меня нет времени для разговоров.

– Почему? – спросили они.

– Я занят сборами в дорогу. Мы все решили уйти из этой страны и поселиться в другом месте. Ведь главная цель в нашей жизни – это деньги, вот мы и договорились отправиться туда, где можно еще больше разбогатеть: золото и серебро добывают в той стране из земли. Потому-то мы и переселяемся в те края.

Узнали ученики Бааль Тфила о том, что решил этот народ приравнять своих богачей к отдельным звездам и созвездиям; постановил он, что каждый, обладающий определенной суммой денег, станет считаться таким-то созвездием или такой-то звездой, ибо от воздействия небесных тел образуется в земле золото, и каждого толстосума приравнивали они к той самой звезде, под влиянием которой возникло накопленное им богатство. Над богачами-звездами и богачами-созвездиями возвышались богачи-ангелы, ибо так постановил народ. В конце концов люди решили, что им следует иметь и собственных богов; обладатели огромных сокровищ, ценность которых была точно определена, становились у них богами, ибо считал народ, что тот, кому Б-г дал такое великое богатство, сам является богом.

После этого решили люди той страны, что жить среди других народов и дышать с ними одним воздухом им более не подобает, ибо весь остальной мир полон скверны. Стали искать они горы, которые возвышались бы над всем миром и были бы

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

достойным для них пристанищем. Отправили они своих посланцев на поиски таких высоченных гор, и те нашли подходящее место.

Весь народ оставил свою страну и переселился туда, причем жители каждого из покинутых городов решили держаться вместе и в новом краю, и каждая община выбрала себе для застройки свою гору. Возвели они вокруг гор неприступные укрепления, выкопали глубокие рвы, чтобы полностью оградить себя от остального мира. На каждую из гор вела лишь одна неприметная тропка, которую ни за что не смог бы обнаружить посторонний человек. У подножья гор была выставлена стража, чтобы никто не смог приблизиться к горной стране.

Осели они на новом месте, продолжая вести прежний образ жизни, и большие богачи были их богами. Но именно потому, что с помощью денег легко было стать богом, боялись люди стать жертвами убийц и разбойников, ибо велик был соблазн разбогатеть с помощью грабежа и кровопролития. Каждый из них остерегался вора и убийцы; а для того, чтобы стать еще богаче, договорились все они молиться своим богам и приносить им жертвоприношения, в том числе и человеческие. Многие из них добровольно отдавали себя в жертву, надеясь слиться со своим божеством и раствориться в нем, а затем родиться вновь богачом-богом. Молитвы, жертвоприношения и воскурения благовоний в честь живых богов стали частью образа жизни этих людей.

Несмотря на все это, убийства и разбой были в этой стране обычным делом, потому что нашлось немало таких, кто не желал полагаться на богослужения, чтобы впоследствии разбогатеть, и надеялся достичь этого без промедления – грабежом и кровопролитием. Основой всей жизни этого народа были деньги, на которые можно было приобрести все: и еду, и одежду, и положение в обществе; эти люди верили в деньги как в Б-га. Каждый не только заботился о том, чтобы количество денег в их стране не убавлялось, но делал все для того, чтобы привлечь в нее дополнительные капиталы со всего света.

Торговали их купцы с другими государствами, делая свою страну еще богаче.

Благотворительность у них строго запрещалась: как можно отдавать другому то, что получено от Б-га?! Поэтому раздача милостыни считалась у этих людей преступлением. Назначили они особых чиновников, которые должны были следить за тем, правильно ли указывает каждый человек сумму своего богатства, ибо для того, чтобы оставаться причисленными к звездам, созвездиям, ангелам или богам, люди должны были постоянно доказывать, что денег у них не уменьшилось. И бывало так, что тот, кто раньше считался животным, становился человеком, так как разбогател, а тот, кто был человеком, опускался до уровня животного, ибо терял свое богатство. То же самое происходило на всех других уровнях общественного положения людей – и бог, если он разорился, переставал быть богом.

В каждом доме были изображения богов, и люди прижимали их к сердцу и целовали, ибо одним лишь деньгам верили и только им поклонялись.

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Вернулись домой ученики Бааль Тфила, побывав в той стране, которую вскоре покинул ее народ, уйдя в горы, и рассказали своему учителю о том, что видели своими глазами, насколько испорчены эти люди глупой страстью к деньгам; о том, что собирается весь народ уйти на новое место – в страну, богатую золотом; о том, что вводят они в своей среде титулы людей-звезд и людей-созвездий...

Воскликнул тут Бааль Тфила:

– Боюсь я, что зайдут они в своем заблуждении еще дальше!

Сказал ему тогда один из учеников, что эти люди уже избрали себе богов – богачей из своего народа.

– Это-то я и имел в виду, – сказал Бааль Тфила, – этого и опасался!

Преисполнилось сердце его жалостью к тому народу, и решил он, что пойдет туда сам: вдруг да удастся ему спасти их заблудшие души!

Отправился он в путь. Шел он, шел, пока не увидел стражников, стоявших у подножия гор. Были эти стражники простолюдинами, которым было разрешено дышать тем же воздухом, которым дышат все остальные обитатели мира. Те же, кто стоял на высших ступенях этого общества, себе такого не позволяли, ибо боялись этим воздухом оскверниться. Поэтому они и с чужеземцами не могли беседовать, чтобы не заразиться от дыхания посторонних людей. Неудивительно, что стражники, охранявшие подступы к городам, расположенным на вершинах гор, были людьми из простонародья. Но и у них были изображения своих богов, и они то и дело прижимали их к сердцу и целовали, ибо их единственной религией тоже были деньги.

Подшел Бааль Тфила к одному из стражников и завел с ним разговор о смысле человеческой жизни, о том, что цель ее – в служении Б-гу, в исполнении законов Его Торы, в молитвах и добрых делах, а искать ее смысл в деньгах – самая большая на свете глупость и бессмыслица. Однако страж не желал его слушать. Обошел Бааль Тфила всех охранников, но никто не внял его словам, ибо за долгие годы люди эти твердо уверовали в силу денег.

Ушел от них Бааль Тфила и решил попасть в город, находившийся на вершине горы. Когда это ему удалось и он вошел внутрь, изумленные жители спросили его:

– Как ты оказался здесь? До сих пор никому из людей не дано было проникнуть сюда.

Он ответил им:

– Стоит ли теперь спрашивать, если я уже здесь?

Стал Бааль Тфила беседовать то с одним, то с другим жителем города о смысле жизни, пытался внушить им, что деньги не могут быть целью человеческого существования, – но никто из них, укоренившихся в своем заблуждении, не желал его слушать. Были эти люди несказанно удивлены тем, что нашелся человек, добравшийся до них и ведущий речи, направленные против их веры. Догадались они, что человек этот – Бааль Тфила, ибо слухи о нем, ходившие по свету, дошли и до них.

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

Весь мир называл его «благочестивый Бааль Тфила»; пытались его поймать, да не могли, ибо во всех местах, где появлялся Бааль Тфила, он выглядел по-разному: то наряжался богатым купцом, то надевал на себя рубище бедняка; неожиданно появлялся он среди людей и исчезал внезапно.

И покинул Бааль Тфила эту горную страну, когда понял, что люди узнали, кто он такой...

Жил в те времена один воин-богатырь, и собрался вокруг него целый отряд. Отправился он со своим войском в поход и стал завоевывать одну страну за другой. Одного лишь добивался от их жителей богатырь: чтобы признали они его своим владыкой. Если страна покорялась ему, он щадил ее народ, если нет – истреблял всех. Так он захватывал одну страну за другой, не дани требуя от них, а одной лишь покорности, признания его власти над ними. Приблизившись к границам страны на расстояние в пятьдесят миль, посылал он туда людей из своего отряда с требованием к народу признать его своим владыкой. И покорялись ему одно государство за другим.

Вернулись домой, в страну богачей, купцы, торговавшие в других местах, и рассказали об этом богатыре. Перепугался народ, хотя и был готов покориться ему: узнали они, что богатырь презирает деньги и не придает им никакого значения. Как же могли они признать его власть над собою! Неужели пойти против собственной веры, стать отступниками?! Напал на них страх перед человеком, не верящим в силу денег. Стали они тут совершать свои языческие обряды, приносить в жертву своим богам людей, считавшихся у них животными, чтобы опасность обошла их стороной.

Тем временем богатырь приближался к их стране и, по своему обыкновению, выслал вперед гонцов, чтобы те выяснили, готова ли эта страна ему подчиниться.

Затрепетал от страха весь народ, не зная, как посту пить. Рассказали тогда купцы следующее. Довелось им посетить одну страну, все жители которой были, по мнению купцов, богами и ездили верхом на конях, похожих на ангелов. До того богата была эта страна, что самый бедный из ее жителей, по понятиям купцов, был достоин считаться богом; каждый конь там был так щедро разукрашен золотом и драгоценностями, что одной лишь попоны ему было бы достаточно, чтобы быть причисленным к разряду ангелов в горной стране. Развезжают там боги в каретах, запряженных тремя парами ангелов.

– Поэтому, – сказали купцы, – давайте пошлем гонцов в ту страну богов, и они придут нам на помощь.

Понравился этот совет жителям горной страны; поверили они, что государство, в котором все – боги, не откажет им в помощи.

Тем временем решил Бааль Тфила вновь вернуться к ним: может быть, все же удастся ему наставить их на путь истинный. Шел он, шел, покуда не увидел стражников, охраняющих подступы к горам. Подошел он к одному из них, с которым был

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

знаком, и завел с ним, по своему обыкновению, разговор о смысле человеческой жизни. Рассказал ему стражник о богатыре, наводящем на них страх.

– Как вы собираетесь поступить? – спросил его Бааль Тфила.

– Решили мы просить помощи у страны, все жители которой – боги.

Рассмеялся тут Бааль Тфила и сказал стражнику:

– Какие глупости! Они такие же люди, как и мы с тобой. И вы все, с вашими богами, всего лишь люди. И нет других богов на свете, кроме единственного Б-га, сотворившего все. И лишь Ему следует служить и Ему одному возносить молитвы, и в этом – основной смысл существования мира.

Долго еще говорил Бааль Тфила со стражником в этом же духе, но не прислушивался тот к его словам, ибо издавна укоренились в нем глупые заблуждения. Продолжал убеждать его Бааль Тфила, и в конце концов ответил ему стражник:

– Положим, что ты прав. Но что я могу сделать, ведь я один!

Прозвучал его ответ как первый шаг к раскаянию; беседы, которые вел с ним Бааль Тфила раньше, и разговор, состоявшийся только что, все же запали стражнику в сердце и не оставили его равнодушным; из ответа его было видно, что слова Бааль Тфила стали понемногу восприниматься им.

Перешел от него Бааль Тфила к другому стражнику и завел разговор на ту же тему и с ним. Тот тоже сначала не прислушивался к его словам, но в конце концов ответил точно так же:

– Но что я могу сделать, ведь я один!

Так ответили Бааль Тфила после беседы с ним и все другие стражники.

Поднялся тогда Бааль Тфила в город и вновь, по своему обыкновению, стал заводить разговоры с людьми: о том, что все они пребывают в великом заблуждении; о том, что не деньги должны быть смыслом жизни, а изучение Торы, обращение ко Всевышнему в молитвах и другие угодные Ему дела. Не доходили до них его слова, ибо страсть к деньгам прочно укоренилась в них.

Рассказали ему жители города о богатыре, который им угрожает, и о том, что хотят они попросить помощи у страны, все граждане которой – боги.

Рассмеялся Бааль Тфила и сказал им:

– Какие глупости! Они такие же люди, как и вы, и ничем не смогут вам помочь. Никакие они не боги. Существует лишь один Б-г, благословенно Имя Его. А богатырь этот, – добавил он в раздумье, – не тот ли это воин-богатырь, который...

Никто не понял, что имел в виду Бааль Тфила.

Так переходил он от одного горожанина к другому и с каждым заводил тот же разговор. А когда заходила речь о богатыре, всякий раз повторял:

– Не тот ли это воин-богатырь, который... – И никто не мог понять, что хотел сказать Бааль Тфила.

Тем временем слух о чужеземце, ведущем необычные речи и насмехающемся над их верой, переполошил все население города. А так как говорил этот человек



о том, что существует лишь один-единственный Б-г, да еще, кроме того, весьма загадочно высказывался о богатыре, наводившем на них страх, догадались люди, что человек этот – Бааль Тфила, который уже был им знаком.

Был издан приказ разыскать его и схватить. Известно было, что Бааль Тфила появляется на людях всякий раз в ином облике, и благодаря тому, что об этом знали, его удалось обнаружить и задержать. Привели его к старейшинам, и те стали беседовать с ним. Но и им отвечал Бааль Тфила так же, как и простым горожанам:

– Все вы заблуждаетесь и совершаете великую глупость. Не деньги должны являться смыслом жизни, а служение единственному Б-гу, благословенно Имя Его, Создателю нашему. Деньги же – это сущая ерунда! А в той стране, куда вы собираетесь послать гонцов за подмогой, живут никакие не боги, а такие же люди, как и вы, и они ничем не смогут вам помочь.

Решили старейшины, что этот человек – сумасшедший, ибо только ненормальный может оспаривать столь очевидные истины, в которые эти люди верили издавна. Спросили они его:

– Что означают твои слова о том богатыре, который хочет, чтобы мы признали его власть над собою: «Не тот ли это воин-богатырь, который...»? -

Ответил он им:

– Жил я однажды при дворе одного царя, и был среди царских приближенных воин-богатырь. Однажды он исчез. Вполне может оказаться, что ваш богатырь тот самый воин, которого я когда-то знал. А что касается той страны, все жители которой, по вашему мнению, боги, то, скажу я вам, это глупость, и помочь вам они ничем не смогут. Более того: если вы станете полагаться на них, это приведет вас к гибели.

– Откуда это тебе известно? – спросили они его.

Ответил им Бааль Тфила так:

– У царя, при дворе которого я жил, был чудесный предмет в форме пятипалой руки, и на ладони ее были такие же линии, какие имеются на ладонях людей. И служила эта рука картой всех миров, и было запечатлено на ней все, что существует во вселенной со времен создания неба и земли и до скончания веков, и даже то, что будет после этого, – все можно было узнать по этой руке, по переплетению линий на ней. Подробное строение всех миров, положение каждого из них по отношению к остальным – все это было изображено на руке, словно на карте, где указаны и названы все страны, города, реки, мосты, леса и многое другое. И подобно тому, как на карте указаны названия всех этих мест, и линии той руки, пересекаясь, образовывали буквы, из которых складывались названия всего, что было изображено на ней: всех стран, городов, рек, мостов, гор и всего остального, существующего и в этом мире, и в других мирах. Можно было прочесть по этой руке имя и судьбу каждого из людей, странствующих по свету, и узнать все пути, связывающие одну страну с другой и одно населенное место с другим. Потому-то я и нашел дорогу, ведущую в

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

ваш город, куда ни одному человеку не добраться. И в какое бы населенное место на земле вы ни попросили бы меня пойти, я благодаря этой руке куда угодно найду дорогу. Кроме того, были отмечены на ней все пути из одного мира в другой – к примеру, путь, по которому можно подняться с земли на небо. Был там изображен и путь, по которому поднялся в небеса Элияһу, и другой, по которому взошел Моше-рабейну, и третий путь в небо – путь Ханоха; все пути из низших миров в высие были отмечены на этой руке переплетениями ее линий. Помимо этого, можно было прочесть по ней судьбу всего на земле – с начала создания мира и по сегодняшний день, а также узнать о том, что произойдет в будущем. Можно, например, увидеть на ней Сдом, таким, каким он был до своего уничтожения, и во время разрушения, и то, что от него в конце концов останется; прошлое, настоящее и будущее показывала эта рука. Видел я на ней и ту страну, всех жителей которой вы считаете богами и хотите обратиться к ним за помощью. Знайте же: если они пошлют вам подмогу, то пропадете и вы, и они.

Потрясены были все услышанным от Бааль Тфила, ибо чувствовали, что все слова его правдивы. Знали они, что такое карта, и понимали, что он не выдумывает: ведь, действительно, было очевидным, что две линии на руке, пересекаясь, образуют букву. С огромным изумлением выслушали они его рассказ и поверили, что это не вымысел.

Спросили они его:

– А где живет этот царь? Может быть, он укажет нам дорогу туда, где мы сможем еще больше разбогатеть?

– Вы все еще продолжаете мечтать о деньгах?! – возмущенно воскликнул Бааль Тфила. – Больше никогда о них не упоминайте!

– И все же скажи нам, где находится этот царь.

– Я и сам не знаю, где он сейчас.

И поведал им Бааль Тфила следующую историю:

– У этого царя и у его жены, царицы, была единственная дочь. Когда пришла пора выдавать ее замуж, собрал царь своих приближенных на совет, чтобы решить, кто достоин стать ее супругом. И так как царь любил меня, то и я был в числе его советников. «Ее следует отдать за нашего воина-богатыря, – сказал я. У него перед государством много заслуг, немало стран он завоевал для нас, и следовало бы отдать ему царевну в жены». Совет мой всем пришелся по душе и был одобрен. Все были рады, что нашли жениха для царской дочери. Сыграли молодые свадьбу, и родился у них ребенок – мальчик, наделенный поистине нечеловеческой красотой: волосы его переливались всеми оттенками золота, личико его было ясным, как солнышко, а глаза светились подобно звездам. И был этот ребенок необыкновенно умен; сразу, как только он появился на свет, всем стало ясно, что это – великий мудрец: если, например, при нем разговаривали, младенец смеялся именно тогда, когда произносились смешные вещи, да и во многом другом проявлялся его великий ум. От

взрослого его отличало только то, что он не умел ходить и разговаривать, но великая мудрость его была очевидной. И был у царя придворный стихотворец, который сочинял прекрасные оды в честь царя и обладал великолепным слогом. Он был наделен выдающимися способностями, но царь указал ему путь к совершенству, и стихотворец, пройдя этим путем, достиг самых вершин мастерства. Среди придворных царя был и мудрец. Он был наделен великой мудростью, однако царь указал ему дорогу к совершенству, и благодаря царю тот достиг поистине необычайных успехов. Так же было и с воином: несмотря на то, что был он богатырем и смельчаком, царь указал ему путь к достижению совершенства, и тот стал великим героем и выдающимся воином. А тот путь, по которому направил его царь, привел богатыря к висевшему в воздухе мечу. Меч этот обладал тремя чудесными свойствами. Стоило лишь взмахнуть им, как все вражеские военачальники обращались в бегство, обрекая свою армию на поражение, ибо если некому вести людей в бой, они наверняка будут побеждены. Но если, несмотря ни на что, оставшиеся на поле брани не сложат оружие – еще два свойства меча помогут одержать над ними окончательную победу. Лезвие его остро отточено с двух сторон; если взмахнуть им, обратив к врагам одной стороной, – полягут замертво все неприятели, если взмахнуть, обратив второй стороной, – нападет на тех что-то вроде проказы: станут худеть на глазах, и плоть их начнет разлагаться, как бывает при этой известной болезни, упаси нас от нее Г-сподь. И для всего этого достаточно одного лишь взмаха мечом. Указал царь и мне путь, идя по которому, достиг я успеха в своем деле – в молитве. А еще у царя был верный, задушевный товарищ. Они так любили друг друга, что не могли и часа вынести в разлуке. Однако в жизни частенько случается, что людям приходится расставаться. Поэтому у каждого из них был портрет, на котором оба они были изображены вместе, и портрет этот утешал их, когда приходилось разлучаться. Были они нарисованы сидящими в обнимку и с нежностью глядящими друг на друга, и обладали эти портреты таким свойством, что каждый, кто глядел на них, ощущал, что и его сердце переполнено любовью. И этот верный друг царя получил способность к великой любви, добравшись до места, дорогу к которому указал ему царь. И вот однажды настала пора каждому из приближенных царя снова направиться по указанному им пути, чтобы обновить свою силу, полученную там. Однажды, когда мы все были в дороге, на землю обрушился страшный ураган, который изменил облик мира: превратил он океан в сушу, а сушу – в океан; города забросил в пустыню, а места, где они находились, опустошил – все перемешала в мире эта буря. Залетел вихрь и в царский дворец, но ничего в нем не разрушил, только подхватил и унес с собою сына царевны. Увидев это, бросилась мать вдогонку за ребенком, за ней – царица и сам царь, и до сих пор никто не знает, куда запропастились они. А нас всех в то время не было во дворце, потому что уходили мы силу свою обновлять; а когда вернулись – никого не нашли, и чудесная рука пропала тоже. С того времени разбредлись мы по свету, и никто из нас не может больше обновить свою силу в изменившемся мире, ибо к тем местам ве-

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

дут теперь другие дороги, которых мы не знаем. Но сила, которая осталась у каждого из нас, все же очень велика. И если богатырь, которого вы опасаетесь, это тот самый царский воин – он, несомненно, великий герой.

В изумлении слушали эти люди рассказ Бааль Тфила, а когда тот умолк, решили не отпускать его от себя: ведь могло оказаться, что богатырь, который им угрожал, был именно тем человеком, о котором Бааль Тфила рассказывал.

Все ближе и ближе подходило войско богатыря к этой стране, и не раз посылал он своих гонцов к ее жителям. Когда остановился он у самых стен города, вновь отправил к ним посланцев с требованием признать его власть над собою.

Перепугались осажденные и попросили Бааль Тфила дать им совет.

Сказал им тот:

– Сначала я должен убедиться, действительно ли это тот царский богатырь, которого я знал когда-то.

Спустился он с горы и добрался до передовых постов окружившего город войска. Подойдя к часовому, он спросил его:

– Кто вы такие и как попали под знамена вашего полководца?

Ответил ему воин:

– В наших книгах говорится, что дело было так: поднялся однажды страшный ураган и изменил облик мира: превратил океан в сушу, а сушу – в океан; города забросил в пустыню, а места, где они находились, опустошил – все перемешал в мире этот ураган. И когда он прекратился, посовещались люди и договорились поставить над собой царя. Стали они искать достойного, и решили, что царем над ними может быть лишь тот, кто знает, в чем заключается цель и смысл жизни, ибо это знание – самое главное в мире, и только человек, близкий к достижению этой цели, достоин быть их царем. Стали они выяснять, в чем же заключается цель и смысл жизни; мнения разделились. Одни сказали, что это – почет, примеры тому мы видим вокруг себя. Это главное в жизни людей, и человек, которого оскорбили словом или обошли почестями, считает себя смертельно обиженным и способен на кровопролитие. Даже покойникам принято отдавать дань уважения – хоронить их с почетом и так далее, хотя после смерти человеку не нужны ни деньги, ни что бы то ни было иное. «Все, что мы делаем, – это для того, чтобы почтить твою память», – говорят люди над его могилой, стараясь, несмотря ни на что, выказать умершему свое уважение. Немало доказательств было приведено в защиту этой точки зрения, сторонники которой утверждали, что главная цель жизни – почет и следует взять в царя честолюбца, который пользуется уважением, и стремится к еще большему почету, и достигает его, ибо такова природа вещей. Пошли они искать такого человека и увидели людей, которые несли на руках старого нищего цыгана, за которым шла толпа в полтыщи его соплеменников. Был этот нищий слеп, глух и горбат, а все люди вокруг оказались его родственниками, ибо у него было много и сестер, и братьев, и детей с их семьями. Этот старый нищий постоянно требовал уважения к себе, злил-

ся на своих родных и заставлял всех по очереди носить себя. Решили тогда те, кто отправился искать для себя царя, что этот старый нищий – тот, кто им нужен, потому что он пользуется уважением и стремится к еще большему почету. Поставили они его над собой царем и отправились искать подходящую страну, в которой могли бы поселиться, ибо есть на свете страна, которая способствует проявлению честолюбия в людях, точно так же, как существуют страны, способствующие проявлениям других человеческих качеств. Нашли они такое место и осели там... Другие же заявили, что цель жизни вовсе не в почете: главный смысл ее – в кровопролитии. Ибо очевидно, что все сущее в мире приходит к гибели. И люди, и растения, и вообще все, наполняющее мир, в конце концов превращается в прах. И поскольку цель существования всего живого – гибель, убийца, уничтожающий людей, способствует ее достижению. Так рассуждали они и решили, что смысл жизни – в кровопролитии. Стали они искать человека, который был бы убийцей и злодеем, и завистником, готовым на все, – лишь он, лучше других постигший, в чем состоит смысл жизни, способен был, по их мнению, стать над ними царем. Пошли они на поиски и вдруг услышали чей-то крик. «Кто это так кричит?» – спросили они и услышали ответ: «Некий человек зарезал своих родителей». «Найдется ли другой такой жестокосердый убийца, – воскликнули они, – такой злодей, который способен убить своих отца и мать! Этот человек достиг конечной цели!» Так он им пришелся по душе, что поставили они его над собой царем и стали искать подходящую для себя страну, способствующую кровопролитию. Нашли они ущелье в горах, подходящее для убийц, и поселились там вместе со своим владыкой... Третьи сказали, что лишь тот достоин царствовать, у кого кладовые ломятся от съестных припасов, кто питается не теми продуктами, которые едят все, а самой изысканной пищей, например, особым молоком, которое не позволяет огрубеть разуму. Однако им не удалось сразу же разыскать человека, который питается не так, как все; а пока суд да дело, нашли они богача, у которого кладовые были полны припасов и пища которого была достаточно изысканной, и поставили его над собой царем, предупредив, что как только найдется более подходящий человек, корона будет передана ему. Нашли они подходящую для себя страну и поселились в ней...

Четвертые заявили, что лишь красавица достойна царствовать. Ибо главная цель существования мира это заселение его людьми, ведь лишь для этого он был создан. А так как красота пробуждает страсть, а страсть способствует деторождению, решили они, что только красавица должна властвовать над ними и привести их к достижению конечной цели. Нашли они такую красавицу и поставили ее над собою царицей. Разыскивали они подходящую для себя страну и поселились там... Пятые утверждали, что смысл жизни – в красноречии. Ибо человек отличается от животного именно речью, в этом – главное различие между ними. Стали они искать человека, который знал бы множество языков и говорил бы не умолкая, ближе других подходя к достижению цели. Отправились они на поиски и нашли сумасшедшего фран-

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

цуза; тот сидел и беседовал сам с собой. Спросили его, сколько языков он знает, и ответил француз, что множество. Решили они тогда, что цель жизни им достигнута, – ведь он такой говорун, что беседует даже сам с собой; понравился им этот француз, и они поставили его над собой царем. Нашли они подходящую для себя страну и поселились там. И царь, несомненно, вел их по жизни праведным путем...

Шестые заявили, что главная цель в жизни – это веселье. Родается ребенок – люди веселятся; веселятся на свадьбах; завоевали чужую страну – тоже веселье! Были уверены они, что в этом – весь смысл жизни. Стали они искать человека, который постоянно пребывал бы в радостном расположении духа и был бы близок, таким образом, к достижению главной цели, – лишь он, по их мнению, мог стать для них достойным царем. Направились они на поиски и встретили пьяницу. Тот шел в разорванной рубашке, держа в руках бутылку самогона, и приятели окружали его. Очень веселым был он, ибо был пьяным-пьянехонек. Увидели они счастливого и беззаботного человека, и так он понравился им, что поставили они его над собой царем – ведь он, по их мнению, достиг цели в жизни. И он повел их, без сомнения, праведным путем. Нашли они подходящую для себя страну, в которой много виноградников и ни одна капля перебродившего сока не пропадет даром, ни одно зернышко – напьется крепкого коньяку человек и вечно будет веселым, не зная даже, в чем причина его радости, ибо никаких других причин веселиться у них не было. Отправились они в эту страну и поселились там...

Седьмые сказали, что главное в жизни – это мудрость. Разыскали они великого мудреца и короновали его, ушли вместе с ним и поселились в стране, благотворно влияющей на мудрость...

Восьмые провозгласили, что главный смысл жизни – наполнять желудок едой и питьем и благодаря этому развивать мускулатуру. Стали искать они богатырски сложенного силача, который поглощал бы пищу в больших количествах, чтобы нарастить побольше мяса – ведь чем больше места занимает он в мире, тем ближе к достижению цели, которая представлялась этим людям самой важной, – к тому, чтобы стать богатырем из богатырей. Лишь такой человек годился им в цари. Искали-искали они и нашли высоченного венгра. Очень он им пришелся по душе, так как был богатырски сложен и, следовательно, был ближе всех к достижению цели. Поставили они его над собой царем, подыскали подходящую страну и поселились в ней... Девятые же заявили, что все перечисленное не имеет никакого отношения к смыслу жизни. Смысл жизни, сказали они, в другом: постоянно молиться Всевышнему, благословен Он, быть скромным и чуждым гордыни. Нашли они человека, в совершенстве знающего молитвы и их порядок, и поставили его царем над собой.

Услышал Бааль Тфила эту историю у часового и узнал от него, что войско, осадившее город, пришло из страны, где поселились те, кто поставил над собой царем здорового венгра. Когда вышли они оттуда с обозом, где были запасы еды и питья и всего необходимого, затрепетал весь мир перед воинами-богатырями.

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

Люди, попадавшие им на пути, сходили на обочину. Но однажды, когда войско было на марше, встретился им могучий богатырь, который не уступил им дорогу: прошел он сквозь колонну, разметав людей в разные стороны, и те испугались его. А когда добрался он до обоза, то поглотил все съестные припасы, взятые богатырями из дому. Поразились они тому, что нашелся герой, который бесстрашно пробился сквозь их войско и съел все, что у них было. Пали они перед ним ниц и вскричали: «Да здравствует царь!» – ибо увидели они, что у него, несомненно, больше прав на царство, чем у того, кого они когда-то поставили над собой, и могучий богатырь этот ближе стоит к достижению цели, к которой они стремились. Не сомневались они, что прежний царь добровольно уступит ему свою корону, когда увидит такого богатыря. Так оно и вышло: стал он царствовать над ними.

– И сейчас он ведет нас завоевывать мир, – сказал часовой. – Только говорит он нам, что подразумевает под этим что-то особенное, а вовсе не установление своей власти над миром.

Спросил его Бааль Тфила:

– В чем, скажи мне, сила вашего нового царя-героя?

Ответил часовой:

– Когда однажды некое государство отказалось подчиниться ему, достал он свой меч, который обладает тремя чудесными свойствами... – и рассказал об этом мече такое, что сразу понял Бааль Тфила: богатырь этот, без сомнения, – тот самый воин, с которым они были вместе в царской свите.

– Могу ли я встретиться с вашим царем? – спросил часового Бааль Тфила.

– Сначала нужно доложить ему, – ответил тот.

Когда передали царю просьбу Бааль Тфила, приказал он привести гостя.

Узнали оба друг друга с первого взгляда и страшно обрадовались, что посчастливилось им встретиться. Однако не только смеялись они, но и плакали, вспоминая своего царя и его приближенных.

– Как ты очутился здесь? – спросил Бааль Тфила воина.

– Когда обрушился на землю страшный ураган и разбросал всех по свету, вернулся я во дворец из тех мест, где обновлял свою силу, и не нашел никого. Пошел я тогда куда глаза глядят и во время своих странствий замечал в разных местах следы пребывания и царя, и царицы, и всех из его окружения. Однако я не мог их найти, ибо не имел возможности даже приступить к поискам. Следы каждого из них замечал я, только твоих не встречал.

Сказал ему Бааль Тфила:

– И я видел следы каждого из них, и твои – тоже. Попал я однажды в одно место и увидел там корону нашего царя; понял я, что и сам он где-нибудь неподалеку. Но не мог я его найти, потому что не имел возможности приступить к поискам. Пошел я дальше и оказался на берегу моря крови. Стало ясно мне, что возникло оно из кровавых слез царицы, пролитых из-за всего случившегося. Не сомневался я, что

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

и она где-то тут, поблизости, но не мог я найти ее, ибо не в состоянии был искать. Потом оказался я у моря молока. Несомненно было для меня, что наполнено оно молоком царской дочери, у которой пропал ребенок. Распирало ее груди это молоко и струилось на землю, и так образовалось море. Чувствовал я, что царица где-то неподалеку, но не мог я ее найти, ибо не было у меня возможности заняться поисками. Продолжил я свой путь и увидел лежавшую на земле золотую прядь детских волос. Не стал я поднимать их, но было ясно мне, что ребенок где-то рядом; не мог я найти его, потому что был не в состоянии искать. Пошел я дальше и вышел к морю вина. Не сомневался я, что возникло оно от утешительных слов, адресованных стихотворцем царю и царице, и от успокоительных речей, с которыми он обращался к их дочери. От всего этого и образовалось винное море. Но и стихотворца я не мог найти и снова пустился в путь. Потом увидел я каменную глыбу, на которой была высечена рука с линиями на ней, подобная той, что была у царя. Понял я, что это сделал для себя мудрец, который наверняка где-то тут, поблизости, но найти его я не мог. Направился я дальше и подошел к горе, которая вся была уставлена золотыми столами и шкафами и прочими сокровищами царского дворца. Уверен был я, что неподалеку от этого места находится казначей царя, но найти его не представлялось возможным.

– Я тоже побывал во всех тех местах, – сказал воин. – Я взял семь золотых волосков ребенка, и у каждого из них был свой оттенок. Я очень дорожу ими. Жил я там, питаюсь чем попало – травой и всякими растениями, пока не кончилась и эта еда. Пошел я куда глаза глядят и только потом спохватился, что забыл там свой лук.

– Я видел этот лук, – вставил Бааль Тфила. – Я, конечно, знал, что он твой, но не мог тебя найти.

– Уйдя оттуда, – продолжил воин, – шел я до тех пор, пока не наткнулся на войско, состоявшее из одних богатырей. Я прошел через их ряды, надеясь разыскать какую-то еду, ибо был очень голоден. Как только оказался я среди них, поставили они меня царем над собою. Сейчас я иду завоевывать мир, чтобы найти в конце концов царя и всех, кто пропал вместе с ним.

Обратился Бааль Тфила к воину за советом:

– Как поступить с жителями этой страны? Страсть к деньгам овладела ими настолько, что докатились они до невероятной глупости: стали считать богами тех их своей среды, у кого много денег; и немало в их жизни иной чепухи.

Ответил ему воин:

– Слышал я от нашего царя, что от всех страстей, владеющих людьми, можно излечить их и лишь тому, кто одержим страстью к деньгам, ничем помочь нельзя. Так что тебе переделать их не удастся: этих людей невозможно спасти. Однако царь сказал мне, что все же есть способ: надо направить таких людей по дороге, которая



ведет к месту, где находился меч и где я обновлял свою силу. Только на этом пути смогли они избавиться от своей пагубной страсти.

Пробыли они вместе какое-то время, и попросил Бааль Тфила воина дать жителям этой страны, которые послали его для переговоров, отсрочку и пока не нападать на них. Согласился тот и договорился с Бааль Тфила об условных знаках, с помощью которых они будут извещать о себе друг друга.

Распрощались они, и продолжил Бааль Тфила свои странствия.

В пути повстречалась ему группа людей, идущих по дороге и взывающих к Б-гу, благословен Он; в руках у каждого из них был молитвенник. С опаской смотрели они на него, а он – на них; остановился он, чтобы помолиться, и они сделали то же. Завершив молитву, Бааль Тфила обратился к ним:

– Кто вы такие?

Ответили они:

– Разразилась однажды на земле страшная буря и изменила облик мира. Когда прекратилась она, разделились люди на разные группы и каждая из них поставила перед собой свою цель. Мы же решили тогда, что смысл жизни в том, чтобы постоянно молиться Всевышнему, благословенно Имя Его. Искали мы человека, который знал бы в совершенстве молитвы и порядок их, и, найдя такого, поставили царем над собой. Услышав эти слова, обрадовался Бааль Тфила, ибо и он видел смысл жизни в том же. Разговорились они, и рассказал им Бааль Тфила о том, как сам молится, и вынул книги, которые были у него, и поделился с ними своими мыслями о том, как именно следует обращаться ко Всевышнему.

Когда умолк Бааль Тфила, весь мир предстал перед этими людьми в новом свете и поняли они, насколько велик человек, которого они повстречали. Тут же отказался их царь от своей короны в пользу Бааль Тфила, и стал тот по их просьбе царствовать над ними. Он обучал их, и на многое открыл им глаза, и показал, как правильно молиться Б-гу, и сделал он их великими и совершенными праведниками. Они и раньше жили праведной жизнью, постоянно молясь Всевышнему, но только после того, как повстречали Бааль Тфила, достигли вершин святости.

Послал тогда Бааль Тфила воину письмо, в котором известил его о том, что ему посчастливилось найти единомышленников и те сделали его своим царем.

Между тем жители страны, в которой деньги считались самым важным в жизни, как и прежде, служили своим богам-богачам и приносили им жертвы; а отсрочка, которую дал им воин, подходила к концу. Чем страшнее было им, тем усердней исполняли они свои обряды: воскуривали благовония своим богам и молились им. Хватали они небогатых людей, которые считались у них животными, и вели их на заклание. Тут вспомнили они о совете, который дали им когда-то купцы, и решили послать за помощью в страну богов, которые, конечно, не откажут им в поддержке. Так и сделали.

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Отправились гонцы в путь, но по дороге заблудились. Вдруг увидели они человека, который шел, опираясь на посох, и посох этот, усыпанный бесценными бриллиантами, стоил больше, чем богатства всех их богов вместе взятых, более того – если прибавить к этому все золото страны богов, куда гонцы направлялись, даже тогда посох превосходил все это своей ценностью. А на голове этого человека был головной убор, украшенный драгоценными камнями, стоимость которого тоже не поддавалась исчислению.

Увидев этого человека, пали гонцы перед ним на колени и стали отбивать ему поклоны: ведь в соответствии с их глупыми верованиями он, обладая подобным богатством, должен был быть верховным божеством.

А был этот путник, которого они встретили, казначеем пропавшего царя.

Сказал он гонцам:

– Чему так изумились вы? Пойдемте со мной, я покажу вам, что такое настоящее богатство.

Привел он их к горе, где лежали все сокровища царя; как увидели их гонцы, снова пали на колени и принялись бить поклоны, ибо обладатель всего этого был, несомненно, богом всех богов. По глупому своему обычаю они должны были с готовностью принести себя в жертву ему, но не осмелились так поступить, ибо те, кто послал их, наказали не делать этого, опасаясь, что никого из гонцов не останется в живых. Ведь могло случиться, что кто-то из них, отойдя, скажем, по нужде в сторону, нашел бы клад, и остальные принесли бы в жертву разбогатевшему одному из своих товарищей – и погибли бы они так один за другим. Поэтому и предупредили их, чтобы не совершали они в пути никаких жертвоприношений.

Посоветовались между собою гонцы и решили, что идти в страну богов уже нет смысла: этот верховный бог, богатство которого неисчислимо, скорее выручит их.

Попросили они его отправиться с ними в их страну, и он согласился.

Весь народ ликовал, когда вернулись они, приведя с собою могущественного бога, несравненного богача, который наверняка спасет их.

Царский же казначей начал устанавливать порядок в стране с того, что потребовал отменить все жертвоприношения: он, как и другие приближенные царя, был большим праведником, и ему были отвратительны глупые обычаи этого народа. Понимал он, что убедить людей сойти с дурного пути ему вряд ли удастся, но все же первым делом решил запретить самый варварский их обычай.

Попросили его жители страны защитить их от воина, перед которым они трепетали в страхе.

– Не тот ли это богатырь, которого я знал когда-то?.. – подумал вслух царский казначей.

Спустился он с горы и направился в сторону войска, осаждавшего город. Добравшись до передовых постов, он обратился к часовым:

– Могу ли я увидеть вашего царя?

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

– Ему доложат, – ответили те.

Передали царю, что какой-то человек просит принять его, и приказал тот выпустить гостя.

Узнали оба друг друга и обрадовались встрече; но не только смеялись они – и плакали тоже, ибо их царя и остальных его приближенных не было с ними.

Потом воин сказал казначею:

– Наш святой Бааль Тфила тоже был здесь, мы встречались с ним. Теперь он стал царем.

Рассказал ему казначей, что в скитаниях своих находил то тут, то там следы пребывания царя и его придворных.

– Лишь твоих следов и следов Бааль Тфила не встречал я, – сказал он воину.

Завели они разговор о стране, народ которой совсем потерял рассудок из-за страсти к деньгам, и воин сказал казначею то же самое, что говорил раньше, обращаясь к Бааль Тфила:

– Единственный способ помочь таким людям – направить их по дороге, ведущей к месту, где обновлял я свою силу.

Побеседовали они еще какое-то время, и уговорил казначей воина продлить этим людям отсрочку. Согласился тот, и договорились они об условных знаках, с помощью которых будут извещать о себе друг друга. Попрощались они, и вернулся казначей в ту страну.

Еще до своей встречи с воином обличал он ее жителей в грехах, в которых погрязли они из-за своей страсти к деньгам, однако не удавалось ему вывести их на верную дорогу: слишком глубоко укоренилась в них эта страсть. И все-таки увещевания и Бааль Тфила, и казначея, которые подолгу беседовали с ними, не пропали даром нарушили их душевный покой. Стали говорить они:

– Хорошо, мы не против – избавь нас от нашего порока.

Несмотря на то, что их образ жизни оставался неизменным и они не бросали своих привычек, от них уже можно было услышать:

– Если мы и вправду заблуждаемся, помоги нам, пожалуйста, взяться за ум!

Сказал им казначей, вернувшись от воина:

– Я посоветую вам, как победить этого богатыря. Мне известен секрет его силы, я знаю, откуда он ее берет, – и поведал он им историю о чудесном мече.

– Я пойду с вами туда; это место придаст сил и нам тоже, и так мы сможем устоять против неприятеля.

На самом же деле казначей преследовал другую цель: провести этих людей по пути, который избавит их от сребролюбия.

Приняли они его совет и решили послать с ним тех, кого считали своими богами. Разоделись эти богачи, понавешали на себя золотые и серебряные украшения и вышли в путь вместе с казначеем.

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Известил тот воина о том, что идут они искать место, где находился меч, и прибавил, что надеется разыскать по дороге царя и его приближенных. Узнав об этом, воскликнул воин:

– И я пойду с ним!

Переоделся он, чтобы спутники казначея его не узнали, и присоединился к ним. Решили воин с казначеем сообщить о своем намерении и Бааль Тфила.

Получив от них это известие, воскликнул тот:

– И я пойду с ними!

Перед тем, как отправиться в дорогу, наказал Бааль Тфила своим людям молиться Б-гу за него и его товарищей, чтобы Творец послал им удачу и удостоились они найти царя и его людей. Надо сказать, что сам Бааль Тфила постоянно молился об этом и просил о том же и других; он даже составил с этой целью особые молитвы. Теперь же он попросил своих людей днем и ночью обращаться к Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он дал Бааль Тфила и его спутникам возможность разыскать пропавших.

Когда присоединился Бааль Тфила к своим товарищам, радости всех троих не было предела; и смеялись они, и плакали... Шли они теперь втроем, и боги-богачи – с ними.

Шли-шли они и увидели перед собой незнакомую страну. Спросили они у стражников, которые охраняли ее:

– Что это за страна и кто царствует над вами?

Ответили им стражники:

– Поднялся когда-то страшный ураган и изменил облик мира. И когда прекратился он, разделились люди на множество групп, у каждой из которых было свое предположение о том, в чем заключается цель и смысл жизни. Наша группа решила, что главное – это мудрость; поселились мы здесь и поставили царем над собою большого мудреца. Но совсем недавно нашли мы человека еще более мудрого, и наш владыка передал ему свою корону. Так что теперь у нас новый царь, ибо мудрость мы почитаем больше всего на свете.

Посоветовались Бааль Тфила, воин и казначей и решили, что, судя по всему, владыка этой страны – их товарищ, мудрец при дворе их царя.

– Можем ли мы увидеться с ним? – спросили они.

– Мы доложим о вас, – ответили стражники.

Послали они гонца к своему царю, и приказал государь привести гостей.

Когда вошли они к нему, то сразу же узнали его, и мудрец узнал своих товарищей. Обрадовались все четверо встрече; но не только смеялись они – и плакали тоже, ибо их царя с остальными его приближенными не было с ними.

– Не знаешь ли ты, где находится чудесная рука, принадлежавшая нашему царю? – спросили мудреца остальные.

## Рабби Нахман из Брацлава. БААЛЬ ТФИЛА

---

– Она у меня, – ответил тот. – Но с тех пор, как ураган разбросал нас по свету, я убрал ее с глаз подальше – ведь один только у нее хозяин: царь. Однако я перенес на камень все линии, которые на ней, чтобы прибегнуть к его помощи в случае необходимости. На саму же руку я никогда не смотрю.

– Как ты оказался здесь? – спросили они его.

– Когда утихла буря, пошел я куда глаза глядят. Видел я то тут, то там следы пребывания всех наших, только ваши следы не попадались мне. Так скитался я, пока не повстречался с жителями этой страны, которые поставили меня царем над собой. С тех пор и веду я их по дороге, которую они для себя избрали, но рано или поздно выведу я их на истинный путь.

Рассказали ему Бааль Тфила, воин и казначей о стране людей, помешанных на деньгах, и добавили:

– Даже если нас раскидало по свету только для того, чтобы исправить жителей этой страны и вернуть их к правде, это было бы достаточной причиной, ибо заблуждаются они и дошли до последней степени глупости. По правде говоря, заблуждаются все люди, разделившиеся на группы: и те, кто стремится к почету, и те, которые полагают, что смысл жизни – в кровопролитии, и остальные; им всем нужно помочь увидеть правильную цель. Ведь даже поклоняющиеся мудрости на самом деле далеки от нее, и их тоже следует вывести на верный путь, потому что мудрость их лишена святости и основана на безбожии. Однако убедить этих людей, что все это – глупости, не так трудно, как тех, которые сделали деньги предметом поклонения и так погрязли в этом болоте, что невозможно вытащить их оттуда.

– Я тоже слышал от царя, что единственный способ помочь таким людям – вывести их на дорогу к тому месту, откуда воин черпал свою силу. Я пойду туда вместе с вами.

Отправились они в путь, теперь уже вчетвером, и боги-богачи – с ними.

Дошли они до незнакомой страны и спросили у стражников, охранявших ее:

– Что это за страна и кто царствует над вами?

– Поднялся когда-то страшный ураган, – ответили те, – и когда разделились после этого люди на группы, мы решили, что смысл жизни в красноречии, и взяли себе в цари речистого человека, знавшего множество языков. Потом повстречался нам великий стихотворец, в совершенстве владевший слогом; наш царь передал ему свою корону, и теперь у нас новый владыка непревзойденный мастер речи.

Догадались тут четверо, что речь идет об их товарище, придворном стихотворце.

– Можем ли мы увидеться с вашим правителем? спросили они.

– Мы доложим о вас, – ответили стражники. Послали они к своему царю гонца, и приказал царь привести гостей.

Вошли они к нему и сразу признали в нем своего друга-стихотворца, и он узнал их тоже. Обрадовались все пятеро встрече; и смеялись они, и плакали.

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Присоединился к ним стихотворец, и пошли они вместе искать остальных: теперь они надеялись на удачу, ибо видели, что Б-г помогает им находить друзей – одного за другим. Знали они, что вся заслуга в том принадлежит святому Бааль Тфила, который постоянно молится об этом; лишь благодаря его молитвам посчастливилось им найти друг друга.

Так шли они, ища остальных, пока не увидели перед собою незнакомую страну.

– Что это за страна и кто правит ею? – спросили они.

– Мы из группы, которая видит смысл жизни в выпивке и веселье. Поставили мы над собою царем человека, который знал в этом толк и всегда пребывал в радостном расположении духа. Потом мы встретили незнакомца, сидевшего в море вина; он нам понравился еще больше, и решили мы, что равного ему не найти. Теперь он – наш новый царь.

Попросили гости проводить их к нему; доложили о них владыке, тот повелел вести их, и увидели они, что это – задушевный товарищ их царя; а море вина, где его нашли, было тем самым, которое образовалось от утешительных слов стихотворца. Друг царя тоже узнал их, обрадовались все они встрече, и смеялись, и плакали. Пошел и он вместе с ними.

Шли они, шли и увидели перед собою незнакомую страну.

– Кто царствует над вами? – спросили они стражников.

– Красавица, – отвечали те, – она придает нашей жизни смысл, ибо наша цель – плодиться и заселять мир. Раньше нами правила очень красивая царица, но потом мы встретили девушку поистине необычайной красоты и поставили ее править нами. Стало тут ясно всем шестерым, что речь идет о дочери их царицы, и сказали они, что хотели бы повидаться с ней.

Доложили ей о гостях, и вошли они, и увидели, что это она и есть.

Невозможно описать, как обрадовались они друг другу.

– Как ты попала сюда? – спросили они ее.

– Когда обрушился на землю ураган, он выхватил из колыбели мое дорогое дитя и унес с собою. Во дворце началась паника, а я побежала вслед за ребенком, но потеряла его из виду. Молоко мое струилось на землю, и так образовалось молочное море. Потом нашли меня люди этой страны и поставили над собою царицей.

Великую радость принесла всем эта встреча, но и слезы проливали они: ведь и ребенка не было с ними, и о родителях царевны – никаких известий...

Теперь у страны, которой правила царская дочка, появился еще и царь: ведь воин был ее мужем. Обратилась царевна к Бааль Тфила с просьбой пройти по ее стране и очистить ее от мерзости. Дело в том, что главным в жизни считали ее жители красоту, и развратились они, предаваясь блуду. Попросила она его привить своим подданным нравственность, чтобы спасти их от зла, ибо животная страсть, которая владела этими людьми, привела их к вере в то, что в этом – главная цель

жизни. Умоляла царевна, чтобы Бааль Тфила пошел и хоть немного очистил от скверны жителей этой страны.

Когда вернулся он, они снова отправились в путь, все вместе: искать остальных. Очутились они у границ незнакомой страны и спросили у ее обитателей:

– Кто царствует над вами?

Услышали они в ответ, что прозвище их царя Годовалый, а сами жители – из той группы людей, которая решила однажды, что царем ее достоин быть лишь тот, кто питается не теми продуктами, которые едят все, а лишь самой изысканной пищей. Взяли они сначала себе в цари одного богача, но потом повстречали человека, сидевшего в море молока. Страшно понравилось им, что молоко всю жизнь было его единственной пищей, а еда прочих людей не знакома ему, и поставили они его царем над собою. Потому-то и назвали они его Годовалым, что питается он одним молоком, словно грудной младенец.

Сразу же догадались все, что речь идет о ребенке царевны, и сказали, что хотели бы встретиться с царем.

Доложили ему, и тот приказал ввести гостей, и они узнали его, а он – их, несмотря на то, что был младенцем, когда унес его ураган. Однако с рождения своего был наделен он мудростью и помнил все о своем детстве. Смеялись они от радости, но и плакали: ведь о судьбе царя и царицы они ничего не знали.

– Как ты попал сюда? – спросили они его.

– Унес меня ураган и забросил неведомо куда, сказал он. – Ел я там что попало, а потом пришел на берег молочного моря, и стало ясно мне, что образовалось оно, без сомнения, из молока моей матери. Так и сидел я там, питаюсь молоком, пока не заметили меня жители этой страны и сделали своим царем.

Отправились они все вместе дальше и, подойдя к незнакомой стране, спросили ее жителей:

– Кто правит вами?

– Мы из тех, кто видит смысл жизни в кровопролитии, – ответили им те, – и взяли мы себе в цари человека, знающего в этом толк. Потом как-то раз обнаружили мы море крови, в котором сидела женщина. Поставили мы ее царицей над собою, ибо не сомневались, что ей нет равных в умении проливать кровь.

– Нельзя ли нам встретиться с нею?

Доложили ей, и ввели гостей, и увидели те, что это их царица, наполнившая море своими кровавыми слезами; и она тоже узнала вошедших. Велика была их радость от встречи, но и слезы проливали они: ведь о царе они ничего не знали.

Пошли они дальше все вместе и увидели незнакомую страну.

– Кто ваш царь? – спросили они ее жителей.

Ответили те:

– Сначала правил нами большой честолюбец, ибо основной целью в жизни мы считаем почет. Но потом мы наткнулись в чистом поле на старца: он сидел там, и на

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

голове его была корона. Это привело нас в восторг: человек этот настолько ценит почет, что сидит в одиночестве с царским венцом на голове! И поставили мы его царем над собою.

Догадались тут все, что нашли, наконец, своего царя, и попросили доложить ему о них. Увидев его, убедились они, что это и впрямь он, и царь тоже узнал их. Так обрадовались они друг другу, что и передать невозможно! А глупые боги-богачи, которые были с ними, не могли понять, что происходит, отчего такое веселье.

Собрались наконец вместе все праведники: сам царь и его приближенные. Послали они Бааль Тфила во все страны, где поселились люди, поставившие перед собой дурные цели, – чтобы он исправил их, и очистил, и вывел на верный путь; и так как были они все царями тех стран, то наделили его соответствующей властью. И отправился Бааль Тфила в путь – помогать людям очиститься и раскаяться.

А воин завел с царем разговор о той стране, жители которой служили идолу богатства, и сказал ему:

– Слышал я от тебя, государь, что, направляя таких людей по пути, который ведет к месту, где черпал я свою силу, можно освободить их от пагубной страсти к деньгам. Верно это?

– Верно, – ответил царь. – И вот что нужно сделать. На пути этом есть развилка, и одна из дорог приводит к огненной горе, на которой лежит лев. Когда этот лев ощущает голод, выходит он на охоту и нападает на стада. Пастухи всегда настороже и охраняют скотину, но лев не обращает на них никакого внимания и, проголодавшись, бросается на жертву, которую выбрал. Пастухи поднимают шум и пытаются отогнать его, но тот, как ни в чем не бывало, делает свое: убивает барана или другое животное и, урча, пожирает его. Заметить же эту гору со стороны невозможно: она невидима. Дальше дорога приводит к новой развилке, и один из двух путей ведет к месту, напоминающему огромную кухню: там готовятся всевозможные яства. Никакого очага там нет, потому что варится все на огне, который течет туда по канавкам с огненной горы, несмотря на то, что гора эта находится очень далеко оттуда. Кухня эта тоже невидима, но ее можно обнаружить по одному признаку: в месте том стоят птицы и взмахами своих крыльев то раздувают огонь, то гасят его – как это требуется для изготовления пищи, ибо одни блюда следует варить на сильном жару, другие на слабом. Поведи-ка этих богачей, которые в своей стране считаются богами, против ветра, чтобы учуяли они аромат этой пищи. Дай им там отведать каждого из блюд, и они сразу же избавятся от своей страсти к деньгам.

Так и поступил воин. Взял он богачей-богов, которых привел с собой царский казначей, заручившийся обещанием жителей этой страны выполнить все, что их посланцы от них потребуют, и повел по дороге, которую указал ему царь. Дошли те до места, идя против ветра, и почуяли аромат чудесной пищи, и стали просить воина дать им отведать ее. Тогда повел он их по ветру, и стали богачи кричать:

– Какое страшное зловоние!



Снова повел он их против ветра, и опять учуяли они аромат яств, и вновь стали просить, чтобы воин дал им попробовать эти кушанья. Опять тот повел их по ветру, и снова закричали они, что вонь вокруг них невыносима, и тогда воскликнул воин:

– Вы же сами видите, что нет тут ничего, что могло бы испускать зловоние; это сами же вы и смердите!

Дал он им, наконец, отведать каждого из блюд, и как только почувствовали они их вкус, стали сразу же выбрасывать деньги из карманов. Потом каждый из них выкопал для себя яму и спрятался в ней, ибо устыдились богачи, поняв, что зловоние это исходило от денег, – такое действие оказала на них эта еда. Расцарапал каждый лицо свое и лег на дно ямы, которую вырыл, не поднимая головы от стыда перед остальными. Таково уж было свойство этого места: самым позорным там были деньги, и если кто-то, попавший туда, хотел укорить другого, он говорил: «Никак у тебя завелись деньжата!». Обладать деньгами считалось там страшным позором, и чем больше их было у человека, тем больший стыд испытывал он перед другими. Оттого-то и спрятались в ямы богачи, не смея поднять лица от великого стыда друг перед другом, а в особенности перед воином. И каждый, кто находил в своем кармане завалившуюся там монету, немедленно выбрасывал ее.

Подошел тогда к ним воин, и вытащил каждого из его ямы, и сказал им:

– Пойдемте назад. А богатыря, который осадил вашу страну, вам уже нечего бояться: я и есть этот богатырь.

Стали они просить его, чтобы он дал им с собой этих яств: сами они, конечно, всегда теперь будут ненавидеть деньги, но хотели бы угостить чудесной едой и всех жителей своей страны, чтобы и те освободились от своей пагубной страсти.

Выполнил воин их просьбу, и принесли они эти кушанья домой, и сразу же стали угощать ими своих сограждан.

Немедленно повыбрасывали все эти люди деньги из карманов и зарылись от великого стыда в землю, причем тем больше стыдился человек, чем богаче он был, а самый большой позор испытывали боги. Но и маленькие люди, которых считали там зверями и птицами, чувствовали себя пристыженными: как могли они столько времени унижать самих себя из-за того только, что денег у них было меньше, чем у остальных! Теперь-то они, наконец, уяснили себе, что все наоборот: самый большой позор – в богатстве. Благодаря отведенным ими яствам вернулась к людям способность различать запахи, и поняли они, что деньги смердят хуже, чем испражнения; повыбрасывали они все, что накопили, все свое золото и серебро.

Когда Бааль Тфила пришел к ним, он помог им исправиться и раскаяться и окончательно очистил их от греха, а царь стал властвовать над всем миром, и все люди вернулись к Б-гу, благословен Он. Тора и молитвы, и раскаяние, и добрые дела заполнили их жизнь.

Амен! Вечно будет благословен Б-г! Да свершится воля Его! Амен и амен!

Йосеф Перл

# МЕГАЛЕ ТЕМИРИН

(письмо 45)

**От реб Зелига Летичевера к реб Зайнвелу Верхейверкеру**

Вы поправили мое здоровье своим письмом и тем, что написали и рассказали мне о том, как вы отправили ту гойку и ее отца в Галицию. Я особенно наслаждался вашей идеей одеть ее по-еврейски. И надеюсь, что они достигнут пункта назначения без препон и неудач. Ведь я слышал, что сейчас перейти границу очень просто, а праведность нашего святого Реббе, долгих ему лет жизни, наверняка обеспечит благоприятный момент для всего начинания. До сих пор же момент был совсем неблагоприятный, поскольку наш Реббе ни разу не упоминал этого дела, хотя я убежден на сто процентов, знал о нем все. Ведь если б он не знал, ни за что бы не одолжил своей коляски. Однажды он прямо сказал: будь мой кучер Давид дома, я б точно не дал им коляску. Ведь с моей упряжкой другому кучеру не совладать – а под другим кучером он, конечно же, имел в виду отца гойки, что сидит на козлах коляски одетый кучером и, как вы писали, правит лошадьми. Отсюда вы понимаете, что Реббе известно все досконально. Особенно красноречив тот факт, что он одолжил коляску сейчас, когда сам в ней сильно нуждается. На этой неделе мы праздновали Лаг Баомер, а в Лаг Баомер он обычно выезжает в поле и пускает стрелу из арбалета, который мы зовем «Подем-бойген». Как-то он сказал по своей великой скромности, что делает так потому, что это – еврейский обычай. Однако нам доподлинно известно, что он пускает стрелу, дабы поразить Сатану, и нет сомнения, что каждый год он его убивает. Вот и в этом году он хотел выехать в поле, но поскольку его коляски не было, то мы послали к Менделе Аделесу и попросили его одолжить нашему святому Реббе свою коляску, хотя вообще говоря мы Менделе за своего не считаем. Все же мы надеялись, что он не посмеет отказать, поскольку до тех пор он не вступил с нами в открытое сопротивление. Но на удивление – он взял и отказал! Он не захотел дать нам свою коляску под предлогом того, что его лошади заняты перевозкой муки для армии. В этот момент, будто ниспосланный Провидением, навестить нашего святого Реббе по поводу Лаг Баомера приехал Реб Мойше Слоквицер, который и дал нам коляску. Итак, мы весьма торжественно вывезли Реббе в поле. Перед коляской шагал музыкант Рыжий Юда со скрипкой, за ним – его брат Йойсеф, что бил в барабан и звенел тарелками. А мы толпой окружили коляску и следовали за ней, распевая чудесные мелодии. И наш святой Реббе с Реб Мойшей Слоквицером сидели в коляске вместе с несколькими нашими юношами. Тот, кто не видел наше веселье, в жизни своей не видел настоящего веселья. Итак, мы прибыли в поле, и Реббе приказал остановиться. Мы остановились. Вынесли его из коляски, он

встал, взял арбалет и стал натягивать тетиву. Он натянул и выстрелил, и стрела упала далеко, и все бросились поднимать ее. А я не мог побежать за стрелой, потому что хотел посмотреть на лицо Реббе, когда он выпускает стрелу, и увидеть, что он станет делать с арбалетом, когда стрела выпущена. И я увидел, что прежде, чем стрелять, он поднял руки кверху, а выстрелив – опустил их. В начале он держал арбалет в левой руке, а стрелу – в правой, а выпустив стрелу, переключивал лук в правую руку. Несомненно, в этом были еще какие тайные намерения. Простые люди ведь считают, что правильный порядок – обратный, как сказали мудрецы: всегда правой рукой веди к себе, а левой – от себя. А он отбрасывал от себя стрелу правою рукою. Поэтому я решил, что в том сокрыта великая тайна, которую никто не разгадает, и это доставило мне величайшее удовольствие, не меньшее, чем удовольствие принести Реббе обратно стрелу. К тому же сообщаю вам, что сегодня Реббе изменил своему обыкновению всегда стрелять только единожды. Вам известно, что с Божьей помощью я удостоился великой чести служить святому Реббе немало лет, и я вам говорю, что он никогда не стрелял больше раза. На этот же раз, когда нашли стрелу и принесли ему, он обернулся в направлении вашей общины и выстрелил в ту сторону – мое скромное разумение подсказывает мне, что он намеревался убить Сатану, живущего в вашем доме, и чем меньше мы станем говорить об этом, тем лучше. Я вам все это рассказываю с тем, чтобы вы хоть немного порадовались и знали, что все обернется к лучшему. Между прочим, Менделе Аделесу отместилось, потому что в ночь после Лаг Баомера его кони были украдены, и я не сомневаюсь, что и коляска его скоро сломается или сгорит дотла, и тогда все в мире, даже злодеи, узнают, на что способны наш святой Реббе и наша секта. Я хотел отправить вам хотя бы ту стрелу, которой Реббе убил вашего Сатану, чтобы вас весьма порадовать. Но когда Реббе выстрелил во второй раз, стрела упала в коляску. По-моему, это был знак, что Сатана будет погран тронем нашего святого Реббе. Так вот когда стрела упала в коляску, ее хозяин ее взял и сказал, что никогда с ней не расстанется, ведь от нее ему удача. И тут же продал ее юноше из Грайдека, что тоже приехал к Реббе на Лаг Баомер. А арбалет наш Реббе дал двум братьям-музыкантам Реб Юде и Реб Йойсефу, которые в тот момент стояли подле Реббе, долгих ему лет. И эти братья отказались расставаться с этим арбалетом за какие бы то ни было деньги. А поскольку он принадлежал им вместе, и каждый из них хотел его нести, а наш Реббе сказал, что на пути назад не должно быть музыки, то они всю дорогу с поля до дома Реббе прошли, держась за арбалет с обеих сторон. Когда мы достигли дома Реббе, они стали ссориться: кто будет держать арбалет. Один из них предложил разобрать арбалет на части и бросить жребий о том, кому достанется тетива, а кому – сам арбалет. Но другой ответил, что тетива ценнее арбалета, так как именно она выталкивает стрелу. Тогда Реб Хаим Калинер придумал компромисс: пусть вытянут жребий, а тот, кому достанется тетива, оплатит другому определенную сумму. Они согласились и вытянули жребий. Тетива оказалась у Юды, а Йойсефу достался арбалет. Реб Юда

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

взял тетиву и обмотал ею свою скрипку, а Реб Йойсеф приделал арбалет на память над своим барабаном. Так мы увидели, как в мире действует Божественное провидение, поскольку вокруг барабана тетиву он бы не смог обмотать, да и вообще тетива на барабана выглядела бы так себе. А сейчас все хорошо и аккуратно. Но на что нам нужны доказательства и знаки того, что все, происходящее в окружении нашего Реббе – сплошные чудеса? Разве мы не наблюдаем таких чудес каждое мгновение? Нам остается только радоваться и наслаждаться великой честью, выпавшей на нашу долю: быть доверенными людьми нашего святого Реббе, долгих ему лет. Итак, силы вам и решительности в деяниях ваших на благо общего предназначения, и укрепления в нашей хасидской вере, ведь без веры в мире ничего не остается. Мы видим, что птица вылетает из гнезда, когда голодна – поступала ли бы она так, не будь у нее веры? Ведь откуда ей знать, найдет ли она себе еду, так не лучше ли ей остаться спокойно в гнезде, особенно в дождь и холод? Но вера дает ей волю и силу лететь, потому что она знает, что если вылетит, то найдет пищу. А если даже у птицы есть вера, разве не обязаны мы в тысячу раз более полно верить?

Генрих Гейне (1797-1856)

## Бахерахский раввин

*Своему любимому другу Генриху Лаубе посвящает легенду  
о бахерахском раввине с радостным приветом автор.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Нижнем Рейне, где берега реки теряют смеющийся свой облик, где горы и утесы с затейливыми руинами замков насупились еще упрямей и дикое, суровое великолепие вздымается еще выше, там, словно ужасающая старинная легенда, стоит мрачный, незапамятно-древний город Бахерах. Эти стены с беззубыми амбразурами и слепыми дозорными башенками, в расщелинах которых свищет ветер и гнездятся воробьи, не всегда были такими замшелыми и разрушенными; в этих убого-безобразных глинистых улочках, что виднеются сквозь развалившиеся ворота, не всегда владычествовала эта пустынная тишина, лишь по временам нарушаемая криками детей, перебранкой женщин и ревом коров. Эти стены некогда были горды и крепки, а в этих улочках кипела свежая, свободная жизнь, мощь и блеск, смех и скорбь, много любви и много ненависти. Бахерах принадлежал некогда к тем муниципиям, что были заложены римлянами в пору их владычества над Рейном, и хотя последующие времена были весьма бурными, и хотя впоследствии жители его попали под власть Гогенштауфенов, а под конец – Виттельсбахов, однако ж, по примеру других при-рейнских городов, они сумели сохранить довольно свободное общинное устройство. Оно состояло в соединении отдельных корпораций, когда единовластия домогались корпорация патрицианских родов и корпорация цехов, в свою очередь делившаяся по ремеслам, так что вовне, для защиты и отпора окрестному разбойничьему дворянству, они держались сплоченно, а внутри, из-за несогласия в интересах, закоснели в беспрестанных раздорах; а посему между ними было мало общения, много подозрительности, и часто всерьез разгорались страсти. Фохт сеньера обитал в высоком замке Зарек и, подобно своему соколу, стремительно бросался вниз по первому зову, а порой и без зова. Духовенство господствовало во мраке посредством помрачения духа. Наиболее отчужденной, немощной, постепенно лишавшейся гражданских прав корпорацией была маленькая еврейская община, осевшая в Бахерахе еще при римлянах и впоследствии, во время великих гонений на евреев, принявшая к себе целые толпы беглых единоверцев.

Великое гонение на евреев началось с крестовых походов и неистовствовало всего яростней в середине четырнадцатого века, на исходе великой чумы, причину коей, как и всякого другого общественного бедствия, приписывали евреям, утверждая, что они навлекли на себя гнев Божий и с помощью прокаженных отравляли колодцы. Взбудораженная чернь – в особенности орды флагеллантов, полунагие

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

мужчины и женщины, которые, каясь, бичевали себя и, распевая безумные гимны в честь Богоматери, прошли Рейнскую область и всю остальную Южную Германию, — умертвила тогда многие тысячи евреев, или подвергла их пыткам, или насильственно крестила. Другое обвинение, которое с давних времен, на протяжении всего средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям много крови и страха, была затасканная, до тошноты повторявшаяся в хрониках и легендах басня, что евреи похищают освященные гостии и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечет кровь, а на пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении. Евреи, достаточно ненавидимые за свою веру, свое богатство и свои долговые книги, в этот праздник были всецело в руках врагов, которые так легко могли погубить их, распуслав слух о подобном детоубийстве, быть может, даже тайно подбросив окровавленный детский труп в опальный дом еврея, а ночью напад на молящееся еврейское семейство; и вот тогда убивали, грабили и крестили, и совершались великие чудеса от найденного мертвого младенца, которого под конец церковь сопричисляла к лику святых. Святой Вернер — как раз такой святой, и в его честь в Обервезеле было основано то великолепное аббатство, развалины которого принадлежат сейчас к самым живописным на Рейне и так восхищают нас готическим великолепием своих длинных остроконечных окон, гордо устремленных ввысь пилястр и каменной резьбы, когда в летний, весело зеленеющий день мы плывем мимо, ничего не зная о его возникновении. В честь этого святого воздвигнуты на Рейне еще три большие церкви и умерщвлено или замучено бесчисленное множество евреев. Это случилось в 1287 году также и в Бахерахе, где построили одну из церквей святого Бернера; евреи тогда испытали много бед и напастей. Однако ж с тех пор прожили они два столетия, не страдая от подобных взрывов народной ярости, хотя угроз и гонений было еще немало.

Но чем сильнее ненависть притесняла их извне, тем искренней и сердечней становилась домашняя жизнь, тем глубже в бахерахских евреях укоренились благочестие и страх Божий. Примером богоугодного жития был тамошний раввин, рабби Авраам, человек еще не старый, однако ж повсеместно прославившийся своей ученостью. Он тут родился, и отец его, также бывший раввином в этом городе, перед смертью велел ему посвятить себя тому же служению и никогда не покидать Бахераха, даже в случае смертельной опасности. Этот наказ и шкаф с редкостными книгами было все, что оставил ему отец, живший в бедности и книжной учености. Но рабби Авраам был весьма богат, ибо, женившись на единственной дочери покойного брата своего отца, торговца драгоценностями, он унаследовал его богатства. Некоторые злоязычники намекали даже, что рабби женился как раз ради денег. Но все женщины оспаривали это и принимались рассказывать старые истории: как рабби еще до своей поездки в Испанию был влюблен в Сарру — ее, собственно, прозывали прекрасной Саррой, и как Сарра семь лет принуждена была ждать, пока рабби не воротился из Испании, после чего он против воли ее отца и даже вопреки

ее собственному желанию женился на ней с помощью обручального кольца. Именно так каждый еврей может сделать еврейскую девушку законной своей женой, если ему удастся надеть ей на палец кольцо и притом сказать: «Я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву». При упоминании Испании злоязычники имели обыкновение улыбаться совсем особенным образом, что происходило по причине темной молвы, будто рабби Авраам хотя и довольно ревностно занимался изучением божественного закона в высшей школе Толедо, однако ж вместе с тем перенял христианские обычаи и усвоил вольнодумный образ мыслей, подобно тем испанским евреям, которые в то время достигли чрезвычайных высот образованности. Но в глубине души эти злоязычники весьма мало верили в справедливость молвы, на которую намекали, ибо безгранично чист, благочестив и серьезен был уклад жизни рабби по возвращении из Испании: самые маловажные обряды выполнял он с боязливой добросовестностью, постился все четверги и понедельники, только по субботам или в другие праздники вкушал мясо и вино. Жизнь его протекала в молитве и ученых занятиях: днем толковал он божественный закон в кругу учеников, которых слава его имени привлекла в Бахерах, а ночью созерцал звезды на небе или очи прекрасной Сарры. Бездетным оставался брак рабби. Однако ж вокруг него не было недостатка в жизни и движении. Большая зала в его доме, расположенном возле синагоги, всегда была открыта для всей общины: сюда приходили и отсюда уходили не спросясь, свершали наскоро молитвы, или набирались новостей, или держали совет в случае общей нужды; здесь дети играли по субботам утром, в то время как в синагоге читали недельную главу писания, здесь собирались на свадебные и погребальные процессии, здесь ссорились и мирились, здесь зябнувший находил теплую печь, а голодный – накрытый стол. Помимо того, вокруг рабби копошилось множество родичей, сестер и братьев с их женами и детьми, а также все дядюшки и тетушки как с его стороны, так и со стороны жены, пространная родня, считавшая рабби главой семейства и наполнявшая его дом спозаранку до поздней ночи; по большим же праздникам имели обыкновение обедать все вместе. С особой торжественностью эти общесемейные трапезы в раввинском доме устраивали каждый год на пасху, этот древний дивный праздник, который и доньше в канун четырнадцатого дня месяца ниссен евреи, в память своего избавления от египетского рабства, справляют по всему свету следующим образом.

Как только наступит ночь, хозяйка дома зажигает светильники, покрывает скатертью стол, кладет посредине три плоских опреснока, прикрывает их салфеткой и на это возвышение ставит шесть мисочек, содержащих символические кушанья, именно – яйца, латук, хрен, кости ягненка и коричневую смесь из корицы, изюма и орехов. За этот стол садится отец семейства со всеми родичами и друзьями и читает им вслух затейливую книгу, что зовется Агада, содержание которой представляет собой диковинную смесь из сказаний праотцев, рассказов о чудесах в Египте, любопытных историй, вопрошаний, молитв и праздничных песнопений. В разгар празд-

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

ника открывается большая трапеза, и даже во время чтения, в назначенное к тому время, отвеживают символические кушанья, а потом съедают по куску опресноков и осушают четыре кубка вина. Скорбно весел, серьезно театрален, сказочно таинствен нрав этого вечернего праздника, и традиционный певучий тон, с каким отец семейства читает Агаду а слушатели время от времени повторяют за ним хором, звучит так жутко сердечно, так по-матерински убаюкивает и тут же торопливо будит, что даже евреи, давно отпавшие от веры отцов своих и прельщенные чужими радостями и почестями, бывают потрясены до глубины души, когда случайно их слуха коснутся старые, хорошо знакомые пасхальные звуки.

Однажды в большой зале своего дома восседал рабби Авраам и вместе со своими родичами, учениками и остальными гостями приступил к вечернему празднованию пасхи. Зала больше чем обыкновенно сверкала чистотой, стол был накрыт пестро вышитой шелковой скатертью, золотая ее бахрома свисала до земли, мирно мерцали тарелочки с символическими кушаньями, также как и высокие, наполненные вином кубки искусной чеканки, украшенные сценами из священной истории; мужчины сидели в черных плащах, в черных плоских шляпах и белых брыжах, женщины – в причудливо сверкающих платьях из ломбардского штофа, с жемчужными и золотыми уборами на голове и ожерельями на шее; а серебряная субботняя светильница лила праздничный свой свет на благоговейно увеселенные старческие и молодые лица. На пурпурной бархатной подушке кресла, поставленного несколько выше, чем остальные, прислонившись к спинке, как того требовал обычай, восседал рабби Авраам и читал и пел Агаду, и пестрый хор вторил или отвечал в установленных местах. На рабби также было надето черное праздничное платье; черты его благородного, несколько строгого лица были мягче обыкновенного; губы улыбались из каштановой бороды, словно собирались вымолвить много отрадного, а на глаза навернулись слезы как бы блаженного воспоминания и предчувствия. Прекрасная Сарра, которая как хозяйка сидела подле него на таком же высоком бархатном кресле, не надела на себя ни одной драгоценности; только белое полотно облекало ее стройное тело и обрамляло кроткое лицо. Это лицо было трогательно-прекрасно, как, впрочем, своеобразно трогательна красота евреек; сознание тяжелого злополучия, горького позора и печальных превратностей, среди которых живут их родные и друзья, разливает по их прелестным чертам выражение страдающей искренности и наблюдательной, любящей пугливости, что так странно очаровывает наши сердца. Так сидела сегодня прекрасная Сарра, не сводя глаз со своего мужа; время от времени она поглядывала на Агаду, красивую, в золото и бархат переплетенную пергаментную книгу, издавле переходившую из рода в род, со стародавними, еще дедами оставленными пятнами вина на страницах, где было много пестро и живо написанных картинок, которые она еще маленькой девочкой так любила рассматривать пасхальным вечером и где изображались различные библейские события, а именно: как Авраам молотком разбивает каменных кумиров отца своего, как



приходят к нему ангелы, как Моисей убивает мицри,<sup>2</sup> как величественно восседает фараон на троне, как жабы не дают ему покоя даже за трапезой, как он – благодарение Богу – тонет, а сыны Израиля осторожно переходят Чермное море, как они, разинув рты, стоят вкупе со своими овцами, коровами и быками у горы Синай, и потом как благочестивый царь Давид играет на лютне, и, наконец, как Иерусалим, с башнями и зубцами своего храма, стоит, озаренный солнечным светом!

Уже налили второй кубок, лица и голоса просветлели, и рабби, взяв один из опресноков и подняв его и радостно приветствуя им, прочитал следующие слова Агады: «Смотри! Вот пища, что отцы наши вкушали в Египте! Всякий алчущий да придет и вкусит от нее! Всякий, кто печалится, да придет и возрадуется с нами о пасхе! Нынешний год празднуем мы пасху здесь, но в грядущем году будем праздновать ее в земле Израиля! Нынешний год празднуем мы как рабы, но в грядущем году будем праздновать как сыны свободы!»

Тут отворилась дверь, и в залу вошли двое высоких бледных мужчин, укутанных в широкие плащи, и один из них сказал: «Мир вам! Мы путешествующие единовверцы и хотим праздновать с вами пасху». И рабби ответил им поспешно и радостно: «Мир и вам, садитесь подле меня!» Оба чужестранца тотчас присели к столу, и рабби продолжал читать. По временам, когда собравшиеся еще вторили ему, он бросал ласковые слова своей жене, и, намекая на шуточный обычай, по которому еврейский отец семейства считает себя в этот вечер царем, он сказал ей: «Радуйся, моя царица!» Она же с грустной улыбкой ответила: «Однако недостает нам царевича!», подразумевая под тем сына, коему, как предписывает в одном месте Агада, надлежит установленными словами спросить отца о значении этого праздника. Рабби ничего не ответил и лишь указал пальцем в Агаде на только что открывшуюся картину, где с необычайной приятностью было изображено, как три ангела приходят к Аврааму, чтобы возвестить ему, что жена его Сарра родит ему сына, она же, по женской хитрости, стоит у входа в шатер, подслушивая их беседу. Этот легкий намек разлил густой румянец по щекам красивой женщины. Она опустила глаза, а потом снова приветливо взглянула на мужа, продолжавшего напевное чтение диковинного сказания, как рабби Иошуа, рабби Элиазар, рабби Азария, рабби Акиба и рабби Тарфен в Бона-Браке всю ночь говорили об исходе детей Израиля из Египта, пока не пришли к ним их ученики и не крикнули им, что наступил день и в синагоге уже читают большую утреннюю молитву.

Меж тем как прекрасная Сарра благоговейно слушала, не сводя глаз со своего мужа, вдруг приметил она, как внезапно исказилось и оцепенело от ужаса его лицо, кровь отхлынула от щек и губ, глаза остекленели, словно ледяные сосульки; но почти в то же мгновение увидела она, что черты его стали по-прежнему спокойными и веселыми, на губы и щеки вернулась краска, глаза стали весело смотреть по

---

<sup>2</sup> Египтяне в Библии.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

сторонам, и даже напало на него какое-то совсем не свойственное ему буйное веселье. Прекрасная Сарра испугалась, как никогда в жизни, и внутреннее содрогание пронизало ее холодом не столько от того, что на лице мужа на мгновение увидела она признаки цепенеющего ужаса, сколько от теперешней его веселости, постепенно переходившей в ликующую несдержанность. Рабби, играючи, передвигал берет с уха на ухо, забавно подергивал и закручивал свою бороду, пел Агаду на манер уличных певцов, а при перечислении казней египетских, когда надлежит многократно погрузить в кубок указательный палец и повиснувшую на нем каплю стряхнуть на землю, обрызгал красным вином молодых девушек, вызвав тем большие сетования об испорченных брыжах и громкий смех. Все тревожней чувствовала себя прекрасная Сарра при виде судорожно бурлящей веселости мужа, и, скованная невыразимой боязнью, она глядела в жужжащую суету пестро освещенных, с довольством покачивающихся людей, грызущих тонкие пасхальные хлебцы, или потягивающих вино, или болтающих друг с другом, или громко поющих в чрезвычайном веселье.

Настал час вечерней трапезы, все поднялись, чтоб совершить омовение, и прекрасная Сарра принесла большую серебряную, украшенную златочеканными фигурами умывальную лохань, которую она подносила каждому из гостей, в то время как ему поливали руки водой. Когда она оказала эту услугу рабби, он многозначительно подмигнул ей и проскользнул за дверь. Прекрасная Сарра последовала за ним, рабби торопливо схватил ее за руку и скорей повел прочь, по темным улочкам Бахераха, скорей за городские ворота, на большую дорогу, что ведет вдоль Рейна на Бинген.

То была одна из тех весенних ночей, хотя довольно теплых и звездных, однако ж наполняющих душу странным трепетом. Запах тления источали цветы; злорадно и в то же время перепуганно щебетали птицы; месяц отбрасывал коварные желтые полосы света на невнятно бормочущий поток; высокие массивы скал на берегу казались угрожающе покачивающимися головами исполинов; дозорный на башне замка Штралек меланхолично трубил в трубу, и среди всего этого торопливо, пронзительно звенел колокольчик церкви святого Вернера, возвещающий о чьей-то смерти. Прекрасная Сарра в правой руке несла серебряную лохань, а левой все еще сжимала руку рабби, и она чувствовала, как леденисто холодны были его пальцы, как дрожала его рука; но она безмолвно следовала за ним, быть может, оттого, что издавна привыкла слепо и беспрекословно повиноваться мужу, быть может, и оттого, что губы ее были сомкнуты внутренним страхом.

Ниже замка Зоннек, против Лорха, примерно там, где теперь расположена деревушка Нидеррейнбах, возвышается скалистая площадка, дугообразно нависшая над берегом Рейна. На нее взошел с женою рабби Авраам, осмотрелся по сторонам и устремил неподвижный взор на звезды. Дрожа и холодея, в смертельном страхе стояла подле него прекрасная Сарра и смотрела на его бледное, призрачно освещенное лунной луной лицо, на котором судорожно сменялись скорбь, страх, благоговение

и ярость. Но когда рабби внезапно выхватил из ее рук серебряную лохань, разбил ее и бросил в Рейн, она уже не могла дольше сдерживать томительное чувство страха и с криком «Ша-даи всеблагий!» рухнула к ногам мужа, заклиная его пояснить наконец ей эту темную, загадку.

Рабби, утративший дар речи, долго беззвучно шевелил губами и, наконец, воскликнул:

– Видишь ли ты ангела смерти? Там, внизу, парит он над Бахерахом! Но мы избежали его меча! Хвала вышнему! – И голосом, все еще дрожащим от внутреннего ужаса, поведал ей, как он в добром расположении духа сидел, прислонясь к спинке кресла, и читал нараспев Агаду и, случайно глянув под стол, узрел там у своих ног окровавленный детский труп. – Тогда заметил я, – прибавил рабби, – что двое поздних наших гостей – не от сынов Израиля, а от собрания безбожников, которые согласились тайно подбросить в дом наш труп, чтобы обвинить нас в детоубийстве и возбудить народ грабить и убивать нас. Я не показывал виду, что проник в козны тьмы, ибо навлек бы тем на себя погибель, и лишь хитростью спасены мы. Хвала вышнему! Не страшись, прекрасная Сарра, наши друзья и родичи также будут спасены. Лишь моей крови жаждали нечестивцы; я убежал от них, и они удовольствуются моим серебром и золотом. Пойдем со мною, прекрасная Сарра, в другую землю, оставим позади себя несчастье, адабы оно нас не преследовало, я бросил ему, чтоб умиротворить его, мое последнее достояние – серебряную лохань. Бог отцов наших не оставит нас. Сойди вниз, ты устала. Там, внизу, ждет у лодки тихий Вильгельм; он повезет нас вверх по Рейну.

Беззвучно, словно подкошенная, опустилась прекрасная Сарра на руки рабби, и он медленно понес ее вниз, к берегу. Там стоял тихий Вильгельм – глухонемой мальчик, однако ж писанный красавец: он для пропитания своей приемной матери, соседки раввина, промышлял рыбной ловлей и всегда причаливал здесь к берегу. Но он как будто сразу угадал намерение рабби; да, казалось, он тоже ожидал его, и на его сомкнутых устах мелькнуло кроткое сострадание. Его большие голубые глаза проникновенно глядели на прекрасную Сарру, и он бережно снес ее в лодку.

Взгляд немого мальчика пробудил прекрасную Сарру от ее беспамятства. Она внезапно почувствовала, что все, о чем рассказал ей ее муж, не было только сном, и потоки горьких слез полились по ее щекам, теперь столь же белым, как и ее платье. И так сидела она посреди челнока, подобно плачущему изваянию; подле нее сидели ее муж и тихий Вильгельм, которые усердно гребли.

То ли от однообразных ударов весел, или от покачивания лодки, или от аромата тех горных берегов, на которых произрастает радость, но только всегда бывает, что даже самый печальный человек странным образом успокаивается, когда он весенней ночью в утлом челноке легко скользит по милому, чистому Рейну. Поистине, старый добросердечный батюшка Рейн не переносит, когда плачут его дети; утоляя слезы, баюкает он их на своих верных руках, и рассказывает им прекраснейшие свои

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

сказки, и сулит им самые золотые свои сокровища, быть может, даже незапамятно давно утонувшее сокровище Ни-белунгов. Так и слезы прекрасной Сарры струились все тише и тише, ее мучительную боль унесли журчащие волны, ночь утратила мрачный свой ужас, и родные горы приветствовали ее, словно посылая нежнейшее прощание! Но всех приветливее прощалась с ней любимая ее гора Кедрих, и в странном сиянии месяца чудилось, что вновь стоит на вершине девушка, испуганно простирая руки, что проворные карлики в бесчисленном множестве выползают из расщелины скалы и какой-то всадник въезжает на гору на всем скаку; и прекрасной Сарре казалось, что она вновь стала маленькой девочкой, и сидит на коленях тетки из Лорха, и эта тетя рассказывает ей прелестную историю о смелом всаднике, освободившем бедную, похищенную карликами девушку, и другие правдивые истории о диковинной Долине шепота, где птицы ведут разумные речи, о пряничной стране, куда попадают послушные дети, о заколдованных принцессах, поющих деревьях, стеклянных замках, золотых мостах, смеющихся русалках... Но среди всех прелестных этих сказок, что начали оживать перед ней, сверкая и звеня, послышался прекрасной Сарре голос ее отца, сердито бранившего бедную тетку за то, что она пичкает ребенка таким множеством нелепиц! Тотчас представилось ей, будто посадили ее на маленькую скамеечку перед бархатным креслом отца, который мягкой рукой гладит ее длинные волосы; его глаза смеются от удовольствия, и он покойно покачивается в своем широком шелковом синем субботнем шлафроке... Это, наверное, была суббота, ибо на столе была разостлана расшитая цветами скатерть, вся утварь в комнате сверкала, начищенная до зеркального блеска, седобородый общинный служка сидел подле отца и жевал изюм и говорил по-древнееврейски; маленький Авраам тоже вошел в комнату с необъятно большой книгой и учтиво попросил у своего дяди позволения истолковать одну из глав священного писания, дабы дядя сам удостоверился, что прошедшую неделю он много учился и заслуживает похвалы и пирожного... И вот мальчуган кладет книгу на широкую ручку кресла и толкует историю Иакова и Рахили: как Иаков возвысил голос свой и громко восплакал, когда впервые увидел двоюродную сестрицу свою Рахиль, как он мирно беседовал с ней у колодца, как пришлось ему семь лет служить ради Рахили, и как быстро эти годы протекли для него, и как он женился на Рахили и всегда, всегда непрестанно любил ее... Также вспомнила вдруг Сарра, что отец ее тогда весело воскликнул: «А не хочешь ли и ты так же вот жениться на двоюродной сестре твоей Сарре?», на что маленький Авраам серьезно ответил: «Да, хочу, а она должна будет ждать семь лет». Смутно пронеслись эти картины в душе прекрасной женщины; она видела, как она и двоюродный ее брат, который стал теперь таким большим и ее мужем, ребячески играли друг с другом в куче, как они забавлялись пестрыми коврами, цветами, зеркалами и золочеными яблоками, как маленький Авраам все нежнее болтал с нею, пока мало-помалу не становился все взрослей и угрюмей и наконец совсем вырос и стал совсем угрюмым... И, наконец, в субботний вечер сидит она дома одна в своей комнате,

месяц ярко светит в окно, дверь распахивается, и в комнату как буря врывается ее двоюродный брат Авраам в дорожном платье и бледный как смерть; и он хватается за ее руку, надевает на палец золотое кольцо и торжественно произносит: «Этим я беру тебя в жены по закону Моисееву и Израилеву! А теперь, – добавляет он с дрожью, – теперь принужден я отправиться в Испанию. Прощай. Семь лет должна ты будешь ждать меня!» И он бросается прочь, а прекрасная Сарра, плача, рассказывает обо всем своему отцу... Тот разгневан и беснуется: «Остриги волосы, ибо теперь ты замужняя!» И он скачет в погоню за Авраамом, чтобы вынудить у него разводную; но тот уже за тридевять земель; отец молча возвращается домой, и когда прекрасная Сарра помогает ему снять дорожные сапоги и, желая смягчить его, говорит, что Авраам возвратится через семь лет, отец раздражается проклятьем: «Семь лет будете вы нищенствовать!» И вскоре после того умирает.

Так пробегали в мыслях прекрасной Сарры былые истории, словно торопливая игра теней; картины причудливо перемешивались, и сквозь них проглядывали полу-знакомые-получужие бородатые лица и большие цветы со сказочно широкими листьями. И чудилось ей также, будто Рейн журчит мелодии Агады и картинки этой книги поднимаются из него в человеческий рост – искаженные, безумные картины: праотец Авраам боязливо разбивает идолов, которые поспешно вновь срстаются сами собой; мицри жестоко отбивается от разгневанного Моисея; гора Синай сверкает молниями и извергает пламя; фараон плывет по Чермному морю, крепко держа в зубах золотую зубчатую корону, лягушки с человеческими лицами плывут за ним следом, и волны пенятся и кипят, и темная исполинская рука угрожающе высовывается из воды.

То была мышиная башня Гаттона,<sup>3</sup> и челнок как раз проскочил бингенский водоворот. Прекрасную Сарру это слегка пробудило от грез, и она взглянула на прибрежные горы, на вершинах которых мерцали огни замков, а у подножия стлался озаренный месяцем ночной туман. Но вдруг показалось ей, что она видит там своих родичей и друзей, бегущих вдоль Рейна в развевающихся белых саванах, с лицами мертвецов... У нее потемнело в глазах; ледяной поток захлестнул ее душу, и, словно во сне, слышала она еще только, что раввин читал ей вечернюю молитву, медленно-тоскливо, как над умирающими, и в забытьи она еще бормотала слова: «Десять тысяч одесную, десять тысяч ошуюю, царю защиты от ужасов ночи».

Тут внезапно отступили нахлынувшие тьма и ужас; мрачная завеса сорвана была с неба, и вверху явился священный град Иерусалим со своими башнями и воротами; в золотом великолепии сверкал храм; в притворе увидела прекрасная Сарра своего отца в желтом субботнем шлафроке и со смеющимися от удовольствия глазами; из круглых окон храма радостно приветствовали ее все родичи и друзья; в святая свя-

---

<sup>3</sup> Легенда говорит о том, что епископ Майнца Гаттон (Xв.) приказал поджечь башню, в которой были заперты бедняки, пришедшие просить хлеба. Всевышний отомстил жестокосердному священнослужителю, настав на него полчища мышей.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

тых стоял на коленях благочестивый царь Давид в пурпурном облачении и сверкающей короне, и сладостно звучали его пение и струны арфы, – и, блаженно улыбаясь, заснула прекрасная Сарра.

### ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда прекрасная Сарра раскрыла глаза, ее едва не ослепили лучи солнца. Высокие башни большого города вздымались перед ней, и немой Вильгельм с багром стоял в челноке и проводил его через веселую сутолоку множества пестрящих вымпелами кораблей; матросы или праздно созерцали проезжающих, или были заняты выгрузкой ящиков, тюков и бочек, которые отвозили они потом на маленьких суденышках на берег; тут стоял оглушительный шум – непрерывные возгласы лоцманов, крики купцов с берега и визг таможенных досмотрщиков, прыгавших с корабля на корабль в красных кафтанах, с белыми палочками и белыми лицами.

– Да, прекрасная Сарра, – сказал рабби своей жене, весело улыбаясь, – вот и прославленный во всем мире вольный имперский и торговый город Франкфурт-на-Майне, и это вот Майн, по которому мы теперь плывем. Там, наверху, смеющиеся дома, окруженные зелеными холмами, – это Саксенхаузен, откуда хромой Гумперц привозит нам на праздник кущей прекрасные мирты. А здесь ты видишь надежный Майнский мост с тринадцатью арками, а множество народа, повозок и лошадей без опасения проходит по нему, а посередине стоит домик, где, как рассказывала тетюшка Тейбхен, живет крещеный еврей, который каждому, кто принесет мертвую крысу, выплачивает шесть геллеров за счет еврейской общины, обязанной каждый год поставлять магистрату пять тысяч крысиных хвостов.

Над этой войной, которую франкфуртские евреи вели с крысами, прекрасная Сарра не могла не расхотаться; ясный солнечный свет и новый, пестрый мир, раскрывшийся перед ней, изгнали из ее души все страхи и ужасы прошедшей ночи, и когда муж и немой Вильгельм вынесли ее из причалившего челнока на берег, она почувствовала себя словно проникнутой ощущением радостной безопасности. Но немой Вильгельм пристально посмотрел ей в лицо своими прекрасными темно-голубыми глазами, полускорбно-полувесело, потом, бросив еще многозначительный взгляд на рабби, прыгнул обратно в челнок и скоро исчез вместе с ним.

Однако как похож немой Вильгельм на моего покойного брата, – заметила прекрасная Сарра.

Ангелы все похожи друг на друга, – проронил рабби и, взяв под руку жену, повел ее через толпу, кишевшую на берегу, где теперь по случаю пасхальной ярмарки было разбито множество деревянных лавчонок. Когда они через темные Майнские ворота попали в город, то и там увидели не менее шумную торговлю. Здесь на узких улицах высились лавки купцов, одна подле другой, и дома, как всюду во Франкфурте, были особо приспособлены для торговли: в первом этаже не было окон, а только открытые сводчатые двери, так что можно было заглянуть далеко вглубь, и каждый,

проходивший мимо, мог подробно осмотреть выставленные товары. Как изумлялась прекрасная Сарра множеству драгоценных вещей, невиданному их великолепию! Там стояли венецианцы, выставившие на продажу всю роскошь Востока и Италии, и прекрасную Сарру словно заворожил вид разложенных уборов и драгоценностей, пестрых шапок и корсетов, золотых браслетов и ожерелий, всей той мишуры, которой так охотно восхищаются и еще охотнее украшают себя женщины. Богато вышитые бархатные и шелковые ткани, казалось, хотели заговорить с прекрасной Саррой, пробудив в ее памяти всяческие диковины; и в самом деле, ей уже казалось, что она вновь стала маленькой девочкой и тетушка Тейбхен, исполнив свое обещание, свезла ее на франкфуртскую ярмарку, и вот теперь она глядит на прелестные платья, про которые ей так много рассказывали. Стайной радостью обдумывала она уже, что бы ей привезти в Бахерах, какой из ее кузиночек больше понравится синий шелковый пояс – маленькой Блюмхен или маленькой Фегельхен, и впору ли также будут зеленые штанишки малышу Готшалкю. Но вдруг сказала она себе самой: «Ах, боже мой!.. Да ведь они меж тем выросли, а вчера их умертвили!» Она сильно вздрогнула, и образы ночи со всеми ее ужасами едва не ожили в ней, но золототканые платья подмигивали ей как бы тысячами плутовских глаз и отговаривали ее от всего мрачного, что возникло у нее на уме, и когда она взглянула на лицо мужа, оно было совсем безоблачно и приобрело свою обычную серьезную кротость.

– Закрой глаза, прекрасная Сарра, – сказал рабби и повел свою жену дальше по людскому потоку.

Какая пестрая суета! По большей части тут были купцы, которые громко торговались между собой, или, бормоча про себя, высчитывали что-то по пальцам, или отсылали тяжело нагруженных рыночных носильщиков, бежавших за ними мелкой рысью, отнести покупки на постоялый двор. По другим лицам было видно, что их привлекло сюда простое любопытство. Красный плащ и золотая цепь выдавали широкоплечего ратмана. Черный добротный камзол изобличал почтенного гордого патриция. Железный шпашак, камзол из желтой кожи и тяжелые железные шпоры возвещали о грузном конюхе. Под черным бархатным чепчиком, который острием заходил на лоб, пряталось розовое девичье лицо, и молодые парни, бежавшие следом, подобно рыщущим гончим псам, являли себя совершенными щеголями: в беретах с задорно посаженными перьями, в остроносых башмаках с бубенчиками, в шелковых разноцветных плащах, где правая сторона – зеленая, левая – красная, или одна – радужными полосами, а другая – пестрыми шашками, так что дурашливые парни казались рассеченными пополам. Увлеченный людским потоком, рабби со своей женой достиг Ремера. Это – большая, окруженная домами с остроконечными крышами рыночная площадь, получившая свое имя от огромной гостиницы, которая была куплена магистратом и обращена в ратушу. В этом здании избирали германских императоров, и перед ним часто происходили благородные рыцарские игры. Король Максимилиан, страстно любивший такие потехи, пребывал тогда во

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Франкфурте, и в его честь на этой площади был устроен большой турнир. У деревянной ограды, которую в то время сносили плотники, все еще стояло множество зевак, рассказывавших друг другу, как вчера при звуках литавр и труб сшиблись герцог Брауншвейгский и маркграф Бран-денбургский, как господин Вальтер, по прозвищу Голыш, с такой силой вышиб Медвежьего рыцаря из седла, что копьё разлетелось в щепки, и как высокий белокурый король Макс стоял на балконе в кругу придворных и от радости потирал руки. Перила балконов и остроконечные окна ратуши были увешаны золотой парчой. Также и прочие дома на рыночной площади стояли еще празднично украшенные и убранные гербами, в особенности дом Лимбурга, на флаге которого была изображена девушка с ястребом на руке, а перед ней – обезьяна, подставляющая ей зеркало. Рыцари и дамы в большом числе стояли на балконе этого дома и, веселясь беседой, смотрели на волнующиеся и беспорядочно движущиеся толпы и вереницы народа. Какое множество зевак всякого звания и возраста теснилось здесь, чтобы утолить свою страсть к зрелищам! Здесь смеялись, хныкали, воровали, щипали за ляжки, потешались, а среди всего этого визгливо дребезжала труба медикуса, который стоял в красном плаще со своим паяцем и обезьяной на высоком помосте и весьма усердно расхваливал собственное искусство, прославляя свои микстуры и чудодейственные мази, или серьезно разглядывал склянку с мочой, что держала перед ним какая-нибудь старуха, или брался вырвать коренной зуб у бедного мужика. Два фехтовальщика в пестрых развевающихся лентах, размахивая рапирами, сошлись здесь словно ненароком и с притворной яростью кололи друг друга; после долгой схватки они обоюдно объявили себя непобедимыми и собрали несколько пфеннигов. Вот с флейтистами и барабанщиками промаршировала мимо вновь утвержденная гильдия стрелков. За ними, предводительствуемая тюремщиком, несшим красное знамя, проследовала ватага гулящих девок, перебиравшихся из вюрцбургского распутного дома «У осла» в Розенталь, где достохвальный магистрат назначил им местопребывание на время ярмарки. «Закрой глаза, прекрасная Сарра», – сказал рабби. Ибо эти фантастически и слишком скудно одетые женщины – среди них некоторые были весьма красивы – вели себя непотребнейшим образом, обнажали свои белые дерзкие груди, дразнили прохожих бесстыжими словами, махали длинными дорожными палками и, сев на них верхом, как на детских лошадок, скакали к воротам св. Екатерины и визгливыми голосами пели песню ведьм:

Козла! Козла! Как быть с козлом?

Куда девался бородач?

Коль нет козла, так мы верхом

На палочке – и вскачь!<sup>4</sup>

Это неумолчное пение, все еще слышавшееся вдали, наконец растворилось в протяжных церковных напевах приближающейся процессии. То было печальное

---

<sup>4</sup> Перевод В. Зоргенфрея.



шествие плешивых и босых монахов, несших горящие восковые свечи, или хоругви с изображением святых, или же большие серебряные распятия. Впереди шли мальчики в красных и белых стихарях, несшие дымящиеся кадильницы. Посреди шествия под великолепным балдахином шли священники в белых стихарях из драгоценных кружев или в пестрых шелковых облачениях, и один из них нес в руках золотой, подобный солнцу, сосуд, который он, поравнявшись на углу рыночной площади с нишей, где помещалось изображение святого, высоко поднял, наполовину провозгласив, наполовину пропев латинские слова... Тут же зазвенел маленький колокольчик, и весь народ вокруг замолк, пал на колени и закрестился. Рабби же сказал своей жене: «Закрой глаза, прекрасная Сарра!» – и поспешно повлек ее отсюда в узенький переулок, через лабиринт тесных и кривых улиц и, наконец, через необитаемую, пустынную площадь, отделявшую новое гетто от остального города.

До того времени евреи жили между собором и берегом Майна, именно от моста до Колодца бродяг и от Мучных весов до церкви св. Варфоломея. Но католические священнослужители выхлопотали папскую буллу, запрещающую евреям жить в такой близости к главной церкви, и магистрат отвел им место на Вольграбене, где они построили теперешнее гетто. Оно было обнесено надежной стеной, а ворота снабжены железными цепями, дабы запирали их от нападения черни. Ибо и здесь жили евреи в притеснении и страхе и больше, чем в наши дни, вспоминали прежние бедствия. В год 1240-й необузданный народ учинил среди них великое кровопролитие, которое прозвали первым избиением евреев, а в год 1349-й, когда бичующиеся, проходя через город, подожгли его и обвинили в том евреев, возбужденный народ умертвил большую часть из них или они обрели смерть в пламени собственных своих домов, что было прозвано вторым избиением евреев. Впоследствии евреям еще часто грозили подобными избиениями; а при внутренних волнениях во Франкфурте, особенно во время распри магистрата с цехами, христианская чернь намеревалась взять приступом гетто. Оно обладало двумя воротами, которые по католическим праздникам запирались снаружи, по иудейским праздникам – изнутри, и перед каждым воротами стояла караульня с городскими солдатами.

Когда рабби со своей женой подошел к воротам гетто, ландскнехты, как можно было видеть через раскрытые окна, валялись в караульне на нарах, а на дворе, перед дверьми, на самом солнцепеке сидел барабанщик и фантазировал на своем большом барабане. Это был грузный толстяк; камзол и штаны – огненно-рыжего сукна, сильно вздутые в рукавах и на бедрах и сверху донизу усаженные маленькими шшитыми в них красными валиками, высовывающимися, словно бесчисленные человеческие языки; грудь и спина защищены черными суконными подушечками, на которых висит барабан; на голове – плоский круглый черный берет; лицо такое же плоское и круглое, оранжево-желтое и усеянное красными болячками, искаженное зевотной улыбкой. Так сидел этот детина и выбивал на барабане ту песню, что

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

некогда пели бичующиеся во время избиения евреев, и ворчал грубым, пивным голосом слова:

Ступала Матерь Божья  
По росам у подножья –  
Господи помилуй!<sup>5</sup>

– Ганс, это дурной напев! – прокричал голос за воротами гетто. – Ганс, и песня худая, нейдет к барабану, совсем нейдет, ну вот, ей-ей, ни на ярмарку, ни на пасху, худая песня, опасная песня. Ганс, Гансик, маленький барабанщик Гансик, я один-одинешенек, и коли ты меня любишь, коли ты любишь Штерна, долговязого Штерна, долговязого Назенштерн, так перестань! – Эти слова были произнесены невидимым говоруном то боязливо-поспешно, то вздыхаючи-медленно, тоном, в котором вязкая мягкость резко сменяется хриплой сухостью, как это бывает у чахоточных. Барабанщик остался непоколебим и, продолжая выбивать прежний мотив, запел:

Тут выбежал мальчонка,  
Бородка у ребенка – Аллилуйя!<sup>6</sup>

– Ганс, – раздался опять голос упомянутого говоруна, – Ганс, я один-одинешенек, а это – опасная песня, и я не охотник ее слушать, и у меня есть на то своя причина, и коли ты меня любишь, ты споешь что-нибудь другое, а завтра мы выпьем.

При слове «выпьем» Ганс перестал барабанить и напевать и добродушно сказал:

– Черт побери всех евреев; но ты, любезный Назенштерн, мне друг, я тебя защищаю, и когда мы будем с тобой почаще пить, так я еще тебя обращаю в истинную веру. Я буду твоим крестным отцом; когда ты окрестишься, ты станешь праведным, а коли у тебя есть смекалка и ты будешь прилежно у меня учиться, так сможешь даже стать барабанщиком. Да, Назенштерн, ты еще сможешь далеко пойти; я тебе завтра, когда мы будем пить, пробарабаню весь катехизис, – а пока что открой-ка ворота: тут стоят двое чужестранцев и просят впустить.

Открыть ворота! – возопил Назенштерн, и голос у него едва не пресекся. – Не так скоро, любезный Ганс, нельзя знать, никак нельзя знать, а я ведь один-одинешенек. Ключ-то у Файтеля Риндскопфа, а он притулился в уголку и бормочет «Восемнадцать благословений»,<sup>7</sup> а их прерывать никак нельзя. Шут Екель-то как раз здесь, но он стоит и молится. Я один-одинешенек!

Черт побери всех евреев! – закричал барабанщик и, громко засмеявшись собственной своей остротой, поплелся к караульне и разлегся там на нарах.

Меж тем как рабби и его жена остались совсем одни перед большими закрытыми воротами, послышался из-за них картавый, гнусавый, немного насмешливый протяжный голос:

---

<sup>5</sup> Перевод В. Зоргенфрея.

<sup>6</sup> Перевод В. Зоргенфрея.

<sup>7</sup> Еврейская молитва.

Штернчик, не копайся так долго, вытяни ключ из кармашка у Риндскопфа или возьми да и отопри ворота своим носом. Люди уже давно стоят и ждут.

Люди? – испуганно вскричал тот, кого называли Назенштерном. – Я полагал, тут всего один человек, и я прошу тебя, шут, любезный шут Екель, глянь-ка, кто там?

Тут открылось в воротах маленькое решетчатое оконце, и в нем показалась двурога желтая шапка, и под нею уморительно скорченное лицо потешника Екеля, шута. В то же мгновение глазок в воротах закрылся, и послышался сердитый картавый голос:

Открывай, открывай, там всего один мужчина и одна женщина.

Один мужчина и одна женщина? – закричал Назенштерн. – А когда отворишь ворота, так женщина скинет юбку, и выйдет, что это мужчина, и будет тогда двое мужчин, а нас всего трое!

Не будь зайцем! – ответил Екель, шут. – Будь смелей, покажи отвагу!

Отвагу? – вскричал Назенштерн и засмеялся с досадливой горечью. – Заяц! Заяц – худое сравнение: заяц – животное нечистое. Отвагу! Меня тут поставили не для отваги, а для осторожности. Когда придет слишком много людей, мне надлежит кричать. Сам я их не могу удержать. Руки у меня слабые, мне учинили фонтанель,<sup>8</sup> я один-одинешенек. Когда в меня выстрелят, я умру! Тогда богач Мендель Рейс, сидя в субботу за столом, вытрет с губ изюмный соус, похлопает себя по брюшку и, быть может, скажет: «Долговязый Назенштерн как-никак славный малый; не будь его, они бы разнесли ворота; он все-таки дал себя застрелить ради нас; славный был малый, жаль, что помер!» – Тут голос стал мало-помалу смягчаться и делаться плаксивым, но вдруг переломился в торопливый, почти озлобленный: – Отвагу! И для того, чтобы богач Мендель Рейс утирал с губ изюмный соус, и похлопывал себя по брюшку, и называл меня славным парнем, должен я дозволить себя пристрелить? Отвагу! Смелый! Малыш Штраус был храбрым и вчера на Ремере глазел на турнир и полагал, что его не опознают, ибо он напялил кафтан фиолетового бархата по три гульдена за локоть, с лисьими хвостиками, весь расшитый золотом – полное великолепие! А они так долго дубасили по фиолетовому кафтану, пока он весь не слинял, а у него самого спина стала фиолетовой и не схожей больше с человеческой. Отвага! Кривоногий Лезер был храбрым, обозвал подлецом нашего подлого фохта, и они повесили его за ноги посреди двух собак, и барабанщик Ганс бил в барабан. Отвага! Не будь зайцем! Где много собак, там зайцу гибель; я один-одинешенек, и мне взаправду страшно.

– Поклянись! – крикнул Екель, шут.

Мне взаправду страшно! – повторил, вздыхая, Назенштерн. – Я знаю, страх заключен в крови, и я воспринял его от покойной матушки.

---

<sup>8</sup> Вскрытие раны.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Да, да, – перебил его Екель, шут, – а твоя матушка–от своего отца, а тот – опять от своего, и так все твои предки – один от одного, вплоть до вашего родоначальника, который при царе Сауле отправился в поход на филистимлян и первый дал тягу... Однако ж погляди: Риндскопф сейчас будет готов, он уже сделал четыре поклона, он уже скачет, как блоха, трижды сказав слово «свят», а теперь осторожно запускает руку в карман...

И в самом деле, загромыхали ключи, скрипя распахнулись створки ворот, и рабби и его жена вошли в совершенно безлюдную Еврейскую улицу. Привратник, маленький мужчина с добродушно-кислым лицом, рассеянно кивнул головой, как человек, который не любит, чтобы ему мешали размышлять, и, старательно заперев ворота, поплелся, не сказав ни слова, в свой угол за воротами, непрерывно бормоча про себя молитвы. Менее молчалив был Екель, шут, приземистый, несколько кривоногий малый со смеющимся багровым лицом и нечеловечески огромной, мясистой рукой, которую он приветливо протягивал из широкого рукава своей пестрой куртки. Позади него выглядывала, или, скорее, пряталась, длинная, тощая фигура, узкая шея в белом оперении тонкого батистового воротника и худое бледное лицо, диковинно украшенное почти невероятно длинным носом, любопытно-боязливо двигавшимся то туда, то сюда.

– Добро пожаловать! Со счастливым праздником! – вскричал Екель, шут. – Не дивитесь, что на улице так тихо и пусто. Весь наш народ теперь в синагоге, и вы пришли как раз в пору, чтобы услышать, как читают историю о жертвоприношении Исаака. Я ее знаю, это занимательная история, и когда бы мне не довелось слышать ее уже тридцать и три раза, я бы охотно послушал ее и в этом году. А это важная история, ибо если бы Авраам на самом деле заклал Исаака, а не козла, то теперь на свете было бы больше козлов и меньше евреев. – И с веселой, безумной гримасой принялся Екель петь следующую песнь из Агады:

Козлик, козлик, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла кошечка да съела козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла собачечка да укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла дубинка да побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел огонек да сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришла водица да залила огонек, что сжег дубинку,

что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел бычок да выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел мясничок да заколол бычка, что выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

Вот пришел ангельчик смерти да умертвил мясничка, что заколол бычка, что выпил водицу, что залила огонек, что сжег дубинку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что сожрала козлика, что купил батюшка, дал за него два грошика; козлик, козлик!

– Да, прекрасная госпожа! – присовокупил певец. – Придет день, когда ангел смерти умертвит мясника и вся наша кровь падет на Эдом, ибо бог есть бог мстящий!..

Но вдруг, резко отбросив невольно завладевшую им серьезность, шут Екель снова ударился в балагурство и продолжал картавящим, скоморошьим тоном:

– Не страшитесь, прекрасная госпожа, Назенштерн не причинит вам ничего дурного. Он опасен только для старой Элле Шнаппер. Она влюбилась в его нос, но ведь он это вполне заслужил. Он прекрасен, как башня, обращенная к Дамаску, и возвышен, как кедр Ливана. Снаружи сверкает, как сусальное золото и сироп, а внутри – чистая музыка и приятность. Летом цветет, зимой замерзает, и летом и зимой лелеют его белые ручки Элле Шнаппер. Да, Элле Шнаппер влюблена в него, совсем рехнулась. Она холит его, она кормит его, и как только он нагуляет достаточно жира, она женит его на себе, а для своих лет она еще довольно моложава, и ежели кто через триста лет прибудет во Франкфурт – неба не будет видно от сплошных Назенштернов.

Вы шут Екель! – вскричал, смеясь, рабби. – Я признал это по вашим словам. Я много о вас слышался!

Да, да, – отвечал тот с забавной скромностью. – Да, да, вот что делает слава! Часто повсеместно слынешь за такого дурня, каким и сам себя не считаешь. Однако ж я прилагаю великое старание, чтобы быть шутком, и скачу, и трясу головою, чтоб звенели бубенцы. Другим это достается легче... Но скажите мне, рабби, чего ради путешествуете вы в праздник?

Мое оправдание, – возразил раввин, – приведено в талмуде и гласит: «Опасность прогоняет субботу».

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Опасность? – внезапно вскричал долгоязыый Назенштерн и задергался, словно в смертельном страхе. – Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик, барабань, барабань! Опасность! Опасность! Ганс-барабанщик...

А барабанщик за воротами кричал густым, пивным голосом:

– Тысяча громов! Черт побери всех евреев! Вот уж третий раз ты меня будишь сегодня, Назенштерн! Не беси меня! Когда я взбешусь, то стану сущим сатаной, и уж будь я нехристь, если не пальну через решетку ворот, и тогда пусть каждый бережет свой нос!

Не стреляй! Не стреляй! Я один-одинешенек, – испуганно заскулил Назенштерн, и плотно прижал лицо к ближайшей стене, и остался в таком положении, дрожа и тихо молясь.

Скажите, скажите, что случилось? – закричал теперь и шут Екель с тем торопливым любопытством, которым уже в ту пору отличались франкфуртские евреи.

Но рабби вырвался от него и пошел со своей женой дальше по Еврейской улице.

– Видишь, прекрасная Сарра, – сказал он со вздохом, – как плохо защищен Израиль! Ложные друзья стерегут его ворота снаружи; а стража внутри – дурачество и трусость!

Медленно брели они по длинной пустынной улице, и то здесь, то там высывались из окон цветущие девические лица, меж тем как солнце празднично весело отражалось в сверкающих оконных стеклах. Тогда дома гетто были еще новы и опрятны, а также ниже, чем теперь, ибо только впоследствии, когда евреи во Франкфурте весьма умножились в числе, но не смели расширить гетто, они стали громоздить этаж на этаж, сдавливать их, как сардины, калеча себе тело и душу. Часть гетто, сохранившаяся после большого пожара, которую называют Старой улицей, – те высокие черные дома, где, скаля зубы, барышничают взмокшие люди, – ужасающий памятник средневековья. Старой синагоги больше нет; она была менее просторна, чем нынешняя, построенная позднее, после того как в общину были приняты нюрнбергские изгнанники. Она была расположена севернее. Рабби не надо было допытываться о ее местонахождении. Уже издали слышал он сбивчивые и чрезмерно громкие голоса. В синагогальном дворе он расстался с женой. Совершив омовение рук у находившегося там колодца, он прошел в нижнюю часть синагоги, где молятся мужчины, а прекрасная Сарра поднялась по лестнице и вошла в помещение для женщин.

Это верхнее помещение было особого рода галерей с тремя рядами деревянных, выкрашенных в коричнево-красный цвет сидений; их спинки были снабжены висячими дощечками, которые весьма удобно откидывались, чтобы можно было класть на них молитвенники. Женщины сидели здесь, болтая друг с другом, или стояли, усердно молясь; иногда они с любопытством подходили к тянувшейся вдоль восточной стороны большой решетке, сквозь тонкие зеленые планки которой была видна нижняя часть синагоги. Там за высокими молитвенными пультами

стояли мужчины в черных плащах, с остроконечными бородами, спадавшими на белые воротники, в плоских шапочках, более или менее окутанных четырехугольными платками из белой шерсти или шелка с предписанными законом стежками, а иногда украшенными золотыми позументами. Стены синагоги были однообразно выбелены, и в ней не было видно никаких украшений, кроме золоченой железной решетки вокруг четырехугольного помоста, на котором читались главы писания, священного ковчега – драгоценной работы ларца, как будто несомого мраморными колоннами с роскошными капителями, листва и цветы которых изящно вились кверху, и прикрытого занавесом лазурно-голубого бархата, расшитого золотыми блестками, жемчугом и цветными камнями, образующими благочестивую надпись. Здесь висела серебряная поминальная лампада и возвышался помост, также обнесенный решеткой, на перилах которой находились различные священные сосуды, в том числе храмовый семисвечник, а перед ним лицом к кивоту стоял кантор, чье пение сопровождалось голосами его обоих помощников – баса и дисканта, как бы аккомпанирующих на инструментах. Евреи изгнали из своих храмов всю настоящую инструментальную музыку, полагая, что хвала богу благоговейней возносится из теплой человеческой груди, нежели из холодных труб органа. Совсем как дитя радовалась прекрасная Сарра, когда кантор, превосходный тенор, возвысил голос и древние серьезные мелодии, так хорошо знакомые ей, разлились с неопишуемой юной прелестью, между тем как бас для контраста ворчал низкие и глухие звуки, а в промежутках дискант пускал тонкие и сладостные трели. Такого пения прекрасной Сарре еще никогда не доводилось слышать в бахерахской синагоге, ибо должность кантора исправлял там общинный староста Давид Леви, и когда этот, уже престарелый, трясущийся человек пытался своим разбитым, бляющим голосом пускать трели, словно молоденькая девушка, и в страшном напряжении судорожно тряс своими вялыми руками, то он возбуждал этим скорее смех, чем набожное чувство.

Благочестивое удовольствие, смешанное с женским любопытством, привлекло прекрасную Сарру к решетке, откуда она могла заглянуть в нижнее отделение, так называемую мужскую школу. Она еще никогда не видела столь большого числа единоверцев, как там, внизу, и ей втайне стало отрадней на сердце в кругу такого множества людей, так близко родственных ей общностью происхождения, образа мыслей и страдания. Но еще глубже взволновалась душа женщины, когда трое стариков благоговейно подошли к священному кивоту, отодвинули блестящий занавес, отомкнули ларец и заботливо вынули ту книгу, которую бог начертал собственной рукой и ради сохранения которой евреи претерпели столько бед и ненависти, позора и смерти, тысячелетнее мученичество. Эта книга – большой пергаментный свиток – была укутана, словно княжеское дитя, в пестро расшитый плащ красного бархата; наверху на обоих деревянных валиках помещались два серебряных ящика, где пересыпались и звенели гранаты и колокольчики, а впереди на серебряных цепочках висели золотые щитки с пестрыми драгоценными камнями. Кантор взял

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

книгу и, словно это было настоящее дитя – дитя, ради которого перенесли большие страдания и оттого еще более любимое, качал ее на руках, приплясывал с нею взад и вперед, прижимал к своей груди и, придя в трепет от этого прикосновения, вознес голос до такой ликующе-благодетельной благодарственной песни, что прекрасной Сарре почудилось, будто колонны священного ковчега стали расцветать и диковинные цветы и листья капителей расти все выше и выше, и звуки дисканта превратились в соловьиные трели, и свод синагоги раздался от могучего баса, и божественная радость полилась вниз с голубого неба. Это был прекрасный псалом. Община вторила припев, и к возвышенному помосту посреди синагоги медленно шел кантор со священной книгой, в то время как мужчины и мальчики торопливо теснились вокруг, чтобы поцеловать бархатный плащ или хотя бы прикоснуться к нему. На помянутом помосте сняли со священной книги бархатный плащ, равно как и покрытую пестрыми письменами ленту, которой она была обвязана, и кантор тем певучим голосом, который как-то особенно модулирует в праздник пасхи, начал читать из развернутого пергаментного свитка назидательную историю об искушении Авраама.

Прекрасная Сарра скромно отошла от решетки, и широкая, обремененная нарядами женщина средних лет, с чванливо-благосклонным лицом, безмолвным кивком головы дозволила ей смотреть в свой молитвенник. По-видимому, эта женщина была не особенно большим знатоком писания, ибо когда она бормотала про себя молитвы, как это обычно делают все женщины, так как им не разрешается громко петь в хоре, то прекрасная Сарра заметила, что чересчур много слов она приговаривала от себя, а через некоторые хорошие строки и вовсе перескакивала. Спустя несколько времени светлые, как вода, глаза этой доброй женщины томно-медленно поднялись кверху, плоская улыбка скользнула по румяно-белому фарфоровому лицу, и тоном, которому надлежало струиться наивозможно аристократичней, она произнесла, обращаясь к Сарре:

– Он поет очень хорошо. Но в Голландии я слышала пение, так еще гораздо лучше. Вы не здешняя и, пожалуй, не знаете, что этот кантор из Вормса и что его хотели здесь удержать, ежели он удовольствуется четырьмястами гульденов в год. Он приятный мужчина, и руки у него, как алебастр. Я дорого ценю красивые руки. Красивая рука придает красоту всему человеку! – При этих словах добрая женщина самодовольно положила руку, которая на самом деле еще была красива, на спинку молитвенного пульта и, грациозно склонив голову, намекая этим, что недолюбливает, когда ее перебивают в разговоре, добавила: – Певунчик еще дитя и выглядит совсем чахлым. Бас уж очень мерзок, и наш Штерн сказал о нем весьма остроумно: «Бас большой дурак, чем это от баса требуется!» Все трое обедают у меня в харчевне, а вы, пожалуй, не знаете, что я Элле Шнаппер!

Прекрасная Сарра поблагодарила за сообщение; в ответ на это Элле Шнаппер снова подробно рассказала, как прежде она жила в Амстердаме, где, по причине



ее красоты, ей ставили множество сетей, и как она за три дня до пятидесятницы прибыла во Франкфурт и вышла замуж за Шнаппера, как тот в конце концов умер, как он трогательно говорил на смертном одре и как ей тяжело содержать харчевню и сохранять при этом свои руки. По временам она бросала в сторону пренебрежительные взоры, вероятно, относившиеся к насмешливым молодым женщинам, осматривавшим ее наряд. Он был довольно примечателен: пышно взбитая юбка белого атласа, на которой были пестро вышиты все звери Ноева ковчега, цапавейка золотой парчи, подобная латам, рукава красного бархата с желтыми прорезами, на голове нечеловечески высокая шапка, вокруг шеи всемогущественный воротник белого накрахмаленного полотна, а также серебряная цепь, на которой, спускаясь на грудь, висели различные монеты, камни и редкости и между прочим большое изображение города Амстердама. Однако ж наряды остальных женщин были не менее примечательны и состояли из смешения мод различных времен; а иные женщины, усыпанные золотом и алмазами, уподоблялись ходячим ювелирным лавкам. Правда, в то время франкфуртским евреям законом была предписана определенная одежда, и для отличия от христиан должны были мужчины носить на плащах желтые кольца, а женщины – высоко насаженную на шапочку фату с синими полосами. Но в гетто мало соблюдали это установление властей, и особенно на праздниках и, наипаче того, в синагоге женщины всячески тщились перещеголять друг друга великолепием своих нарядов, частью для того, чтобы возбудить зависть, частью для того, чтобы выказать благосостояние и кредитоспособность своих супругов.

В то время как в нижнем отделении синагоги читают главы из Пятикнижия Моисеева, обыкновенно допускается послабление набожности. Многие устраиваются поудобнее и присаживаются, перешептываются с соседом о мирских делах или выходят на двор подышать свежим воздухом. Маленькие мальчики позволяют себе, между прочим, вольность навестить своих матерей в женском отделении, где набожность ослабевает куда больше: здесь болтают, судачат, смеются и, как это везде случается, молодые женщины подшучивают над пожилыми, а те в свой черед сетуют на ветреность молодежи и испорченность времени. Подобно тому как в нижнем отделении франкфуртской синагоги был запевала, так на хорах была своя заводчица сплетен. Это была Гюндхен Рейс, плоская, зеленолицая женщина, которая чужла всякое несчастье и постоянно держала на кончике языка какую-нибудь скандальную историю. Обычной мишенью для ее колкостей служила бедная Элле Шнаппер: она презабавно умела передразнивать ее вымученно благородные манеры, а также томную осанку, которую та принимала в ответ на лукавые любезности молодежи.

– А знаете, – выкрикнула Гюндхен Рейс, – вчера Элле Шнаппер сказала: «Когда бы я не была красива, умна и любима, то не пожелала бы жить на свете!»

Послышалось довольно громкое хихиканье, а стоявшая вблизи Элле Шнаппер, заметив, что это на ее счет, презрительно закатила глаза и, подобно гордому великолепному корвету, поплыла на более отдаленное место.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Фегеле Оке, круглая, несколько мешковатая женщина, заметила с состраданием, что Элле Шнаппер, по правде говоря, тщеславна и ограничена, но зато она славная женщина и делает весьма много добра людям, которые в том нуждаются.

– В особенности Назенштерну, – прошипела Гюндхен Рейс.

И все, знавшие об их нежной связи, рассмеялись еще громче.

– А знаете, – язвительно добавила Гюндхен, – Назенштерн теперь и ночует в доме Элле Шнаппер... Однако ж поглядите, там, внизу, на Зюсхен Флерсхейм ожерелье, что Даниель Флеш заложил у ее мужа. Жена Флеша бесится... Сейчас вот она говорит с Флерсхейм... Как дружелюбно они пожимают руки! А ведь ненавидят друг друга, как Мидиан и Моаб. Как любезно они обмениваются улыбками! Не слопайте только одна другую от чистой чувствительности! Желала бы я послушать их разговор!

И вот, подобно подстерегающему зверю, подкралась Гюндхен Рейс и услышала, что обе женщины доверительно обменивались жалобами на то, как много пришлось им работать на прошлой неделе, чтобы прибрать в доме и вычистить кухонную посуду, что надлежит сделать перед праздником пасхи, дабы нигде не осталось ни одной прилипшей крошки кислого хлеба. Обе женщины также заговорили о хлопотности выпечки пресных хлебцев. У Флеш была еще своя жалоба: в общинной пекарне ей пришлось перенести много неприятностей – по жеребьевке ей выпало печь в конце праздника, да и то поздно вечером; старая Ганне плохо замесила тесто, служанки раскатали его скалками слишком тонко, половина хлебцев сгорела в печи, и, кроме того, шел такой сильный дождь, что деревянная крыша пекарни все время протекала, и они принуждены были, мокрые и усталые, работать там до глубокой ночи...

А в этом, милая Флерсхейм, – прибавила Флеш с деликатной любезностью, в которой не было ни капли искренности, – и вы чуточку виноваты, потому что не прислали мне в помощь своих людей.

Ах, простите, – отвечала другая, – мои люди были слишком заняты: надо было укладывать товары на ярмарку; у нас теперь столько дел, мой муж...

Я знаю, – перебила ее Флеш резко-торопливым тоном, – я знаю, у вас много дела, много залогов, отличных сделок, и ожерелий...

Ядовитое слово уже готово было соскользнуть с уст говорившей, и Флерсхейм уже покраснела, как рак, как вдруг Гюндхен Рейс пронзительно вскрикнула:

– Бога ради, приезжая женщина упала и умирает... Воды! Воды!

Прекрасная Сарра лежала в беспомощности, бледная, как смерть, а вокруг нее хлопотливо и участливо теснились толпой женщины. Одни держали ей голову, другие – руку; старухи опрыскивали ее водой из склянкой, висевших за их молитвенными пультами на случай омовения рук, когда женщины случайно касались ими своего тела; другие давали нюхать упавшей в обморок старый лимон, утыканный гвоздикой, сбереженный еще с прошлого поста, когда его нюхали для подкрепления нервов. В изнеможении, с глубоким вздохом открыла наконец глаза прекрас-

ная Сарра и немymi взорами благодарила за добрую заботливость. Но тут внизу торжественно запели «Восемнадцать благословений», молитву, которую никто не смеет пропускать, и хлопотливые женщины поспешили на свои места и творили эту молитву, как надлежит, стоя и обратив лицо к востоку – стороне, где находится Иерусалим. Фегеле Оке, Элле Шнаппер и Гюндхен Рейс всех дольше задержались возле прекрасной Сарры; две первые настойчиво предлагали ей свои услуги, последняя осведомлялась, почему она так внезапно впала в беспамятство.

Однако обморок прекрасной Сарры имел свою особенную причину. В синагоге существует обычай, что тот, кто избавился от большой опасности, после, при чтении глав священного писания, выходит вперед и благодарит божественный промысел за свое спасение. И вот когда рабби Авраам поднялся с своего места для такого возблагодарения и прекрасная Сарра узнала голос своего мужа, заметила она, что его тон переходил постепенно в печальное бормотанье молитвы о мертвых; она услышала милые и родные имена, и притом в сопровождении тех благословляющих слов, которыми наделяют умерших; и последняя надежда покинула душу прекрасной Сарры, и ее душа была растерзана уверенностью, что ее милые и родные действительно умерщвлены, что ее маленькая племянница убита, что и ее кузиночки Блюмхен и Фе-гельхен убиты и маленький Готшалк тоже убит, – все убиты и мертвы. От горечи этого сознания она и сама едва не умерла, но благодетельный обморок затуманил ее чувства.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда по окончании богослужения прекрасная Сарра сошла на синагогальный двор, рабби уже стоял там, ожидая свою жену. Он с веселым видом кивнул ей и вывел на улицу, где прежняя тишина совсем исчезла и сменилась шумным многолюдьем. Бородачи в черных кафтанах, словно скопище муравьев; порхающие и блестящие, подобно золотым жукам, женщины; одетые во все новое мальчики, несшие за стариками их молитвенники; молодые девушки, которые не имели права ходить в синагогу, теперь выскакивали из домов навстречу родителям, склоняя кудрявые головы, чтобы получить благословение: все радостные, веселые, прогуливающиеся взад и вперед по улице, в блаженном предвкушении отличного обеда, милый запах которого заранее вызывал у всех слюнки, подымаясь от черных, меченных мелом горшков, которые только что были вынуты смеющимися служанками из большой общинной печи.

В этой толчее особенно выделялась фигура испанского рыцаря, чье юношеское лицо покрывала та пленительная бледность, которую женщины обыкновенно приписывают несчастной любви, а мужчины, напротив, – счастливой. Его походка, хотя и равнодушно-небрежная, однако ж скрывала в себе некоторое изысканное жеманство; перья его берета колыхались скорее от гордого покачивания головы, нежели от веяния ветра; громче, чем надобно, звенели его золотые шпоры и портупея меча,

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

который, казалось, он нес в руках; сверкающая драгоценная рукоятка выглядывала из-под рыцарского плаща, накинутого на его стройный стан мнимо небрежно, но все же изобличая заботливейшую драпировку. Изредка, отчасти с любопытством, отчасти с миной знатока, приближался он к проходившим женщинам, со спокойной твердостью смотрел им в лицо, задерживался, разглядывая, когда они этого стоили, ронял несколько беглых льстивых слов иному прелестному созданию и беспечно шагал дальше, не дожидаясь, пока это возымеет действие. Он уже много раз появлялся вблизи прекрасной Сарры, однако его всегда отпугивал ее властный взгляд или загадочно улыбающееся лицо ее мужа, но наконец, гордо отбросив робкое смущение, он дерзко загородил им дорогу и с щегольской уверенностью, сладко-галантным тоном произнес следующую речь:

– Сеньора, клянусь! Слушайте, сеньора, клянусь! Розами обеих Кастилии, арагонскими гиацинтами и цветами андалузского граната! Солнцем, что освещает всю Испанию, все ее цветы, луковицы, гороховые похлебки, леса, лошаков, козлов и старокатоликов! Небесным балдахином, на коем это солнце всего только золотая кисть! И богом, что восседает на этом балдахине, размышляя денно и ночью о новом сотворении прелестных женских обликов... Клянусь, сеньора, вы прекраснейшая женщина, какую я только видел на немецкой земле, и коль скоро вы соблаговолите принять мои услуги, то я прошу вас о милости, благосклонности и позволении осмелиться назвать себя вашим рыцарем и носить ваши цвета в забавах и битвах!

Вспыхнуло отболи лицо прекрасной Сарры, и, бросив взгляд, разящий тем более жестоко, чем нежнее посылающие его глаза, тоном, уничтожающим тем сильнее, чем мягче дрожащий голос, ответила глубоко оскорбленная женщина:

– Благородный господин! Когда хотите вы стать моим рыцарем, то принуждены будете сразиться с целым народом и в этой борьбе сыщете мало благодарности и еще меньше чести! И когда вы хотите носить мои цвета, то принуждены будете нашить на свой плащ желтые кольца или повязать фату с синими полосами, ибо это мои цвета, цвета моего дома – дома, что зовется Израиль и весьма страждет и над которым глумятся на улице сыны счастья!

Внезапная краска залила щеки испанца, бесконечное замешательство отразилось во всех чертах его лица, и, почти запинаясь, сказал он:

Сеньора... Вы превратно меня поняли... Невинная шутка... Однако ж, клянусь богом, не глумление, не глумление над Израилем... Я сам происхожу из дома Израиля... Дед мой был евреем, быть может, даже мой отец...

И, наверное, сеньор, дядя ваш еврей? – внезапно перебил его рабби, спокойно наблюдавший эту сцену, и с веселым, дразнящим взором прибавил: – И я готов поручиться, что дон Исаак Абарбанель, племянник великого раввина, происходит от лучшей крови Израиля, если даже не от рода царя Давида!

Перевязь зазвенела под плащом испанца, его щеки вновь потускнели до землистой бледности; на верхней губе подергивалась как бы насмешка, борющаяся со

страданием, а в глазах оскалила зубы сама гневная смерть, и совершенно изменившимся, ледяным, отрывисто-резким тоном он сказал:

Сеньор раввин! Вы меня знаете. Ну ладно; значит, ведомо вам, кто я. А когда лис знает, что я из рода льва, то поостережется и не станет рисковать своей лисьей бородой и распалать мой гнев! Как смеет лис судить льва? Конечно, тот, кто чувствует, как лев, может понять его слабости...

О, я прекрасно понимаю, – отвечал рабби, и печальная серьезность омрачила его лицо. – Я прекрасно понимаю, что гордый лев из гордости сбрасывает свою княжескую шкуру и наряжается в пестрый чешуйчатый панцирь крокодила, ибо стало модой быть слезливым, коварным, прожорливым крокодилком! Как надлежит поступать более ничтожным зверям, когда лев отрекается от самого себя? Однако ж остерегись, дон Исаак, ты не создан для стихии крокодила. Вода (ты отлично знаешь, о чем я говорю) – твое несчастье, и ты в ней погибнешь. Не в воде твоя держава: слабейшей форели живется в воде лучше, чем царю лесов. Ведь ты помнишь, тебя едва не затянуло в пучину Тахо...

Громко рассмеявшись, дон Исаак внезапно бросился на шею раввину, замкнул ему рот поцелуями и, гремя шпорами, подпрыгнул от радости так высоко, что проходившие мимо евреи испуганно шарахнулись в сторону, и естественным, сердечно-веселым тоном сказал:

– Взаправду, ты Авраам из Бахераха! И то была неплохая выдумка и, кроме того, еще дружеская услуга, когда ты в Толедо спрыгнул с Алькантарского моста в воду, схватил друга, умевшего лучше пить, чем плавать, за вихор и вытащил на берег! Я было намеревался основательно изучить, в самом ли деле золотой песок лежит на дне Тахо и справедливо ли прозвали его римляне золотой рекой. Уверяю тебя, я еще до сих пор простужаюсь при одном воспоминании об этой речной прогулке...

При этих словах испанец повел плечами, словно отряхиваясь от приставших капель воды. Лицо рабби теперь совсем просветлело. Он несколько раз пожал руку своему другу, говоря при этом: «Весьма рад!»

– И я тоже рад! – сказал тот. – Мы семь лет не виделись, и при нашем расставании я был совсем еще желторотый птенец, а ты, ты был уже такой степенный и серьезный... А что стало с той прекрасной донной, которая стояла тебе иногда стольких вздохов, отлично рифмованных вздохов, сопровождавшихся игрой на лютне?..

– Тише, тише! Донна нас слышит, она моя жена, и ты сам предложил ей сегодня образец твоего вкуса и поэтического таланта.

Не без следа прежнего замешательства поклонился испанец прекрасной женщине, которая с очаровательной добротой теперь высказала сожаление, что, изъясвив неудовольствие, она огорчила друга своего мужа.

Ах, сеньора, – отвечал дон Исаак, – кто неловкой рукой прикоснется к розе, тот не должен сетовать, что его укололи шипы! Когда вечерняя звезда, сверкая золотом, отражается в голубом потоке...

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Прошу тебя, бога ради, – перебил его рабби, – умоляю... Когда нам придется ждать до тех пор, пока вечерняя звезда, сверкая золотом, отразится в голубом потоке, то моя жена умрет с голоду; она со вчерашнего дня ничего не ела и перенесла за это время много беспокойства и горя.

Ну, так я сведу вас в лучшую харчевню Израиля, – вскричал дон Исаак, – в дом моей приятельницы Элле Шнаппер, здесь поблизости! Я уже обоняю ее прелестный запах (я разумею – харчевни). О, когда бы ты знал, Авраам, как приятен мне этот запах! Это он, с тех пор как я гощу в этом городе, так часто привлекает меня к шатрам Иакова! Ибо вообще-то я не охотник общаться с народом, избранным богом, и, поистине, я посещаю эти еврейские улицы не для того, чтобы помолиться, а затем, чтобы покушать...

Ты никогда не любил нас, дон Исаак....

Да, – продолжал испанец, – вашу стряпню я люблю гораздо больше, чем вашу веру; вашей вере недостает надлежащего соуса. Вас самих я никогда не мог хорошенько переварить. Даже в лучшие ваши времена, даже под управлением предка моего Давида, который царствовал над Израилем и Иудой, я бы не ужился с вами и уж наверно в одно прекрасное утро спрыгнул бы со стен Сиона и эмигрировал в Финикию или Вавилон, где в храме богов пенится веселье жизни...

Ты, Исаак, хулишь единого бога, – угрюмо пробормотал рабби, – ты куда хуже, чем христианин, ты язычник, идолопоклонник...

Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безрадостные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назаряне... Да простит мне наша Богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колена и молюсь перед многострадальной матерью распятого... Только колена мои и язык мой славят смерть, сердце мое хранит верность жизни!..

Однако ж не принимай кислого вида, – продолжал испанец, заметив, как мало радовала раввина его речь, – не смотри на меня с отвращением. Мой нос не стал отступником. Когда случай завел меня однажды в обеденное время на эту улицу и хорошо знакомые запахи еврейских кухонь зашекетали мои ноздри, тогда овладела мною та самая тоска, которую ощутили наши отцы, когда вспоминали о горшках с мясом в Египте; вкусные воспоминания юности зашевелились во мне; мысленно я вновь увидел карпов с коричневой изюмной подливкой, которых столь назидательно умела готовить моя тетка к пятничному вечеру; я вновь увидел тушеную баранину с чесноком и хреном, каким можно пробудить даже мертвых, и похлебку с мечтательно плавающими клецками... И моя душа растаяла, как пение влюбленного соловья, и с тех пор я обедаю в харчевне моей приятельницы донны Элле Шнаппер!

Между тем они подошли к харчевне; сама Элле Шнаппер стояла у дверей своего дома, дружелюбно приветствуя проголодавшихся ярмарочных гостей, устремившихся к ее столу. За нею, высунув голову из-за ее плеча, стоял Назенштерн и любопытно-боязливо осматривал пришельцев. С преувеличенной важностью приблизился

дон Исаак к трактирщице, которая ответила на его лукаво-почтительные поклоны нескончаемыми книксенами, после чего он стянул с правой руки перчатку, обернул эту руку полой плаща и, ухватив руку Элле Шнаппер, медленно провел ею по своим усам, сказав:

– Сеньора, ваши глаза поспорят с жаром солнца. И хотя яйца, чем дольше их варить, тем тверже они станут, однако ж мое сердце, чем дольше оно варится в жарких лучах ваших глаз, тем мягче оно становится! Из желтка моего сердца выпорхнул крылатый амур, и он ищет уютное гнездышко на вашей груди. Эта грудь, сеньора, чему надлежит мне ее уподобить? Во всем обширном творении не найти ни одного цветка, ни одного плода, который бы походил на нее. Это растение – единственное в своем роде. Хотя буря уносит лепестки нежнейшей розы, однако ж ваша грудь – зимняя роза, непокорная всем ветрам! Хотя кислый лимон, чем сильнее он стареет, тем желтей и морщинистей становится, однако ж ваша грудь поспорит своим цветом и нежностью с самым сладким из ананасов! О сеньора, если даже город Амстердам так прекрасен, как вы рассказывали мне о нем вчера, позавчера и всякий день, однако почва, на которой он покоится, еще в тысячу раз прекрасней...

Последние слова рыцарь проговорил с притворным замешательством, томно скосив глаза на большое изображение Амстердама, висевшее на шее Элле Шнаппер;

Назенштерн заглянул вниз ищущими глазами, и хваленая грудь заколыхалась так сильно, что град Амстердам стал покачиваться из стороны в сторону.

– Ах! – вздохнула Элле Шнаппер. – Добродетель много дороже красоты. Что мне пользы от красоты? Молодость моя проходит, и с тех пор, как умер Шнаппер, – у него по крайности были красивые руки, – какая мне польза от красоты?

И тут она снова вздохнула, и, словно эхо, почти неслышно вздохнул за ней Назенштерн.

– Какая вам польза от красоты? – вскричал дон Исаак. – О донна Элле Шнаппер, не грешите против благодати созидающей природы! Не поносите ее прелестнейших даров! Она жестоко может отомстить вам. Эти упоительные глаза тупо остекленеют, эти приятные губы сплоснутся до отвратительности, это целомудренное, томящееся по любви тело превратится в неуклюжую бочку сала, град Амстердам будет покоиться на затхлом болоте...

И вот, предмет за предметом описывал он теперешнюю наружность Элле Шнаппер, так что бедная женщина ощутила странное стеснение и пыталась избавиться от зловещих речей рыцаря. Тут она вдвойне обрадовалась, заметив прекрасную Сарру, и могла настойчиво осведомиться, вполне ли та пришла в себя после обморока. Она пустилась в оживленную беседу, где раскрылись вся ее притворная чванливость и природная доброта, и скорее пространно, чем умно, рассказала фатальную историю, как она сама чуть не впала в беспамятство, когда совсем чужая прибыла на трешкоуте в Амстердам и продувной носильщик доставил ее не в честную гостини-

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

цу, а в бесстыжий непотребный дом, как она скоро заметила по обильному потреблению водки и бесчестным домогательствам... И она, как сказано, уж наверное бы впала в беспамятство, когда бы в течение шести недель, что провела в этом доме соблазна, отважилась хоть на мгновение смежить очи...

– Ради моей добродетели, – прибавила она, – я не могла на это отважиться. И это все приключилось со мной по причине моей красоты! Однако ж красота проходит, а добродетель пребывает неизменной.

Дон Исаак собрался было критически осветить подробности этой истории, как, на счастье, из дома вышел косой Арон Гиршку из Гомбурга-на-Лане. Белая салфетка торчала у него под носом, и он сердито пожаловался, что суп давно подан, гости сели за стол, а хозяйки нет.

(Окончание и следующие главы пропали не по вине автора.)



Генрих Гейне (1797-1856)

## ИЕГУДА БЕН ГАЛЕВИ

1

«Да прилипнет в жажде к небу  
Мой язык и да отсохнут  
Руки, если я забуду  
Храм твой, Иерусалим!..»

Песни, образы так бурно  
В голове моей теснятся,  
Чудятся мужские хоры,  
Хоровые псалмопенья.

Вижу бороды седые,  
Бороды печальных старцев.  
Призраки, да кто ж из вас  
Иегуда бен Галеви?

И внезапно — все исчезло:  
Робким призракам несносен  
Грубый оклик земнородных.  
Но его узнал я сразу,—

Да, узнал по древней скорби  
Многомудрого чела,  
По глазам проникновенным  
И страдальчески пытливым,

Но и без того узнал бы  
По загадочной улыбке  
Губ, срифмованных так дивно,  
Как доступно лишь поэтам.

Год приходит, год проходит,—  
От рожденья Иегуды  
Бен Галеви пролетело  
Семь столетий с половиной.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

В первый раз увидел свет  
Он в Кастилии, в Толедо;  
Был младенцу колыбельной  
Говор Тахо золотого.

Рано стал отец суровый  
Развивать в ребенке мудрость,—  
Обученье началось  
С божьей книги, с вечной Торы.

Сыну мудро толковал он  
Древний текст, чей живописный,  
Иероглифам подобный,  
Завитой квадратный шрифт,

Этот чудный шрифт халдейский,  
Создан в детстве нашим миром  
И улыбкой нежной дружбы  
Сердце детское встречает.

Тексты подлинников древних  
Заучил в цитатах мальчик,  
Повторял старинных тропов  
Монотонные напевы

И картавил так прелестно,  
С легким горловым акцентом,  
Тонко выводил шалшелет,  
Щелкал трелью, словно птица.

Также Таргум Онкелос,  
Что написан на народном  
Иудейском диалекте,—  
Он зовется арамейским

И примерно так походит  
На язык святых пророков,  
Ну, как швабский на немецкий,—  
Этот желтоцвет еврейский

Тоже выучил ребенок,  
И свои познания вскоре  
Превосходно применил он  
В изучении Талмуда.

Да, родитель очень рано  
Ввел его в Талмуд, а после –  
И в великую Галаху,  
В эту школу фехтованья,

Где риторики светш,  
Первоклассные атлеты  
Вавилона, Пумпедиты  
Упражнялись в состязаньях.

Здесь ребенок изощрился  
В полемическом искусстве,–  
Этим мастерством словесным  
Позже он блеснул в «Козари».

Но, как небо нам сияет  
Светом двойственной природы:  
То горячим светом солнца,  
То холодным лунным светом, -

Так же светит нам Талмуд,  
Оттого его и делят  
На Галаху и Агаду.  
Первую назвал я школой

Фехтования, а вторую  
Назову, пожалуй, садом,  
Садом странно-фантастичным,  
Двойником другого сада,

Порожденного ютгда-то  
Также почвой Вавилона:  
Это сад Семирамиды,  
Иль восьмое чуда света.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Дочь царей Семирамиду  
Воспитали в дежестве птицы,  
И царица сохранила  
Целый ряд привычек птичьих:

Не хотела променады  
Делать по земле, как все мы,  
Млеком вскормленные твари,  
И взрастила сад воздушный,—

Высоко на колоссальных  
Колоннадах заблистали  
Клумбы, пальмы, апельсины,  
Изваянья, водометы —

Скреплены хитро и прочно,  
Как плющом переплетенным,  
Сетью из мостов висячих,  
Где качались важно птицы,

Пестрые, большие птицы,  
Мудрецы, что молча мыслят,  
Глядя, как с веселой трелью  
Подле них порхает чижик.

Все блаженно пьют прозрачный,  
Как бальзам душистый, воздух,  
Не отравленный зловонным  
Испарением земли..

Да, Агада — сад воздушный  
Детских вымыслов, и часто  
Юный ученик Талмуда,  
Если сердце, запылившись,

Глохло от сварливой брани  
И от диспутов Галахи,  
Споров о яйце фатальном,  
Что снесла наседка в праздник,

Иль от столь же мудрых прений  
По другим вопросам, — мальчик  
Убегал, чтоб освежиться,  
В сад, в цветущий сад Агады,

Где так много старых сказок,  
Подлинных чудесных былей,  
Житий мучеников славных,  
Песен, мудрых изречений,

Небылиц, таких забавных,  
Полных чистой пылкой веры.  
О, как все блистало, пело,  
Расцветало в пышном блеске!

И невинный, благородный  
Дух ребенка был захвачен  
Буйной дерзостью фантазий,  
Волшебством блаженной скорби,

Страстным трепетом восторга —  
Тем прекрасным тайным миром,  
Тем великим откровеньем,  
Что поэзией зовется.

И поэзии искусство —  
Высший дар, святая мудрость —  
Мастерство стихосложения  
Сердцу мальчика открылось.

Иегуда бен Галеви  
Стал не только мудрый книжник,  
Но и мастер песнопенья,  
Но и первый из поэтов.

Да, он дивным был поэтом,  
Был звездой своей эпохи,  
Солнцем своего народа —  
И огромным, чудотворным,

Огненным столпом искусства.  
Он пред караваном скорби,  
Пред Израилем-страдальцем,  
Шел пустынями изгнанья.

Песнь его была правдива,  
И чиста, и непорочна,  
Как душа его; всевышний,  
Сотворив такую душу,

Сам доволен был собою,  
И прекраснейшую душу  
Радостно поцеловал он,—  
И трепещет тихий отзвук

Поцелуя в каждой песне,  
В каждом слове песнотворца,  
Посвященного с рожденья  
Божьей милостью в поэты.

Ведь в поэзии, как в жизни,  
Эта милость — высший дар!  
Кто снискал ее — не может  
Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого  
Божьей милостью поэта  
Гением; он в царстве духа  
Абсолютный самодержец,

Он дает ответ лишь богу,  
Не народу, — ведь в искусстве  
Нас народ, как в жизни, может  
Лишь казнить, но не судить.

### 2

«Так на реках вавилонских  
Мы рыдали, наши арфы  
Прислонив к плакучим ивам»,—  
Помнишь песню древних дней?

Помнишь — старое сказанье  
Стонет, плачется уныло,  
Ноет, словно суп в кастрюльке,  
Что кипит на очаге!

Сотни лет во мне клокочет,  
Скорбь во мне кипит! А время  
Лижет рану, словно пес,  
Иову лизавший язвы.

За слюну спасибо, пес,  
Но она лишь охлаждает,  
Исцелить меня могла бы  
Смерть,—но я, увы, бессмертен!

Год приходит, год проходит!  
Деловито ходит шпулька  
На станке, — а что он ткет,  
Ни единый ткач не знает.

Год приходит, год проходит,—  
Человеческие слезы  
Льются, капают на землю,—  
И земля сосет их жадно.

Ах, как бешено кипит!  
Скачет крышка!.. Слава мужу,  
Чья рука твоих младенцев  
Головой швырнет о камень.

Слава господу! Все тише  
Котелок клокочет. Смолк.  
Мой угрюмый сплин проходит,  
Западно-восточный сплин.

Ну, и мой конек крылатый  
Ржет бодрее, отряхает  
Злой ночной кошмар и, мнится,  
Молвит умными глазами:

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

«Что ж, опять летим в Толедо,  
К маленькому талмудисту,  
Что великим стал поэтом,—  
К Иегуде бен Галеви?»

Да, поэт он был великий —  
Самодержец в мире грезы,  
Властелин над царством духов,  
Божьей милостью поэт.

Он в священные сирвенты,  
Мадригалы и терцины,  
Канцонетты и газеллы  
Влил огонь души, согретой

Светлым поцелуем бога!  
Да, поистине был равен  
Этот трубадур великий  
Несравненным песнотворцам

Руссильона и Прованса,  
Пуату и прочих славных  
Померанцевых владений  
Царства христиан галантных.

Царства христиан галантных  
Померанцевые земли!  
Их цветением, блеском, звоном  
Скрашен мрак воспоминаний!

Чудный соловьиный мир!  
Вместо истинного бога —  
Ложный бог любви да музы,—  
Вот кому тогда молились!

Розами венчая плечи,  
Клирики псалмы там пели  
На веселом лангедоке,  
А мирянин, знатный рыцарь,



На коне гарцуя гордо  
В стихотворных выкрутасах  
Славил даму, чьим красотам  
Радостно служил он сердцем.

Нет любви без дамы сердца!  
Ну, а уж певец любви –  
Миннезингер, — тот без дамы  
Что без масла бутерброд!

И герой, воспетый нами,  
Иегуда бен Галеви,  
Увлечен был дамой сердца –  
Но совсем особой дамой.

Не Лаурой, чьи глаза,  
Эти смертные светила,  
На страстной зажгли во храме  
Знаменитейший пожар,

Не нарядной герцогиней  
В блеске юности прекрасной,  
Королевою турниров,  
Присуждавшей храбрым лавры,

Не постельной казуисткой,  
Поцелуйным крючкотвором,  
Докторолухом, ученым  
В академиях любви,–

Нет, возлюбленная рабби  
В жалкой нищете томилась,  
В лютой скорби разрушенья  
И звалась: Иерусалим.

С юных лет в ней воплотилась  
Вся его любовь и вера,  
Приводило душу в трепет  
Слово «Иерусалим».

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Весь пунцовый от волнения,  
Замирая, слушал мальчик  
Пилигрима, что в Толедо  
Прибыл из восточных стран

И рассказывал, как древний  
Город стал пустыней дикой,—  
Город, где в песке доныне  
Пламенеет след пророка,

Где дыханьем вечным бога,  
Как бальзамом, полон воздух.  
«О юдоль печали!» — молвил  
Пилигрим, чья борода

Белым серебром струилась,  
А у корня каждый волос  
Черен был, как будто сверху  
Борода омоложалась, —

Станный был он пилигрим;  
Вековая скорбь глядела  
Из печальных глаз, и горько  
Он вздыхал: «Иерусалим!

Ты, людьми обильный город,  
Стал пустынею, где грифы,  
Где гиены и шакалы  
В гнили мерзостно пируют,

Где гнездятся змеи, совы  
Средь покинутых развалин,  
Где лиса глядит спесиво  
Из разбитого окошка

Да порой, в тряпье одетый,  
Бродит нищий раб пустыни  
И пасет в траве высокой  
Худосочного верблюда.

На Сионе многославном,  
Где твердыня золотая  
Гордым блеском говорила  
О величье властелина,—

Там, поросшие бурьяном,  
Тлеют грудями обломки  
И глядят на нас так скорбно,  
Так тоскливо, будто плачут.

Ах, они и вправду плачут,  
Раз в году рыдают камни —  
В месяц аба, в день девятый;  
И, рыдая сам, глядел я,

Как из грубых диких глыб  
Слезы тяжкие катились,  
Слышал, как колонны храма  
В прахе горестно стонали».

Слушал речи пилигрима  
Юным сердцем Иегуда  
И проникся жаждой страстной  
Путь свершить в Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая  
Власть мечтаний и предчувствий,  
Чью святую мощь изведаль  
В замке Блэ видам прекрасный,

Жоффруа Рюдель, услышав,  
Как пришедшие с востока  
Рыцари при звоне кубков  
Громогласно восклицали:

«Цвет невинности и чести,  
Перл и украшение женщин —  
Дева-роза Мелисанда,  
Маркграфиня Триполи!» —

Размечтался трубадур наш,  
И запел о юной даме,  
И почувствовал, что сердцу  
Стало тесно в замке Блэ,—

И тоска им овладела.  
К Цетте он поплыл, но в море  
Тяжко заболел и прибыл,  
Умирая, в Триполи.

Там увидел Мелисанду  
Он телесными очами,  
Но тотчас же злая смерть  
Их покрывша вечной тенью.

И в последний раз запел он  
И, не кончив песню, мертвый,  
Пал к шагам прекрасной дамы —  
Мелисаады Триполи.

Как таинственно и дивно  
Сходны судьбы двух поэтов,  
Хоть второй лишь мудрым старцем  
Совершил свой путь великий!

И Иегуда бен Галеви  
Принял смерть у ног любимой,  
Преклонил главу седую  
У колен Иерусалима.

### 3

После битвы при Арбеллах  
Юный Александр Великий  
Землю Дария и войско,  
Двор, гарем, слонов и женщин,

Деньги, скипетр и корону —  
Золотую дребедень —

Все набил в свои большие  
Македонские шальвары.

Дарий, тот удрал от страха,  
Как бы в них не угодить  
Царственной своей персоной.  
И герой в его шатре

Захватил чудесный ларчик,  
Золотой, в миниатюрах,  
Инкрустированный тонко  
Самоцветными камнями.

Был тот ларчик сам бесценен,  
А служил лишь для храпенья  
Драгоценностей короны,  
И других сокровищ царских.

Александр их раздарил  
Самым храбрым — и смеялся,  
Что мужчины, словно дети,  
Рады пестрым побрякушкам.

Драгоценнейшую гемму  
Милой матери послал он,—  
И кольцо с печатью Кира  
Стало просто дамской брошкой.

Ну, а старый Аристотель-  
Знаменитый забияка,  
Мир поставивший вверх дном,  
Для коллекции диковин

Получил оникс огромный.  
В ларчике имелись перлы,  
Нить жемчужин, что Атоссе  
Подарил Смердис поддельный,—

Жемчуг был ведь настоящий!  
И веселый победитель

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Отдал их Таис, прекрасной  
Танцовщице из Коринфа.

Та, украсив жемчугами  
Волосы, их, как вакханка,  
Распустила в ночь пожара,  
В Персеполисе танцуя,

И швырнула в царский замок  
Факел свой — и с громким треском  
Яростно взметнулось пламя  
Карнавальным фейерверком.

После гибели Таис,  
Что скончалась в Вавилоне  
От болезни вавилонской,  
Перлы были в зале биржи

Пущены с аукциона,—  
И купил их жрец мемфисский  
И увез их в свой Египет,  
Где они явились позже

В шифоньерке Клеопатры,  
Что толкла прекрасный жемчуг  
И, с вином смешав, глотала,  
Чтоб Антония дурачить.

А с последним Омаядом  
Перлы прибыли в Гренаду  
И блистали на тюрбане  
Кордуанского калифа.

Третий Абдергам украсил  
Ими панцирь на турнире,  
Где пронзил он тридцать броней  
И Зюлеймы юной сердце.

Но с паденьем царства мавров  
Перешли и эти перлы

Во владенье христиан,  
Властилинов двух Кастилии,

Католических величеств,—  
И испанских государынь  
Украшали на турнирах,  
На придворных играх, в цирке,

На больших аутодафе,  
Где величества с балконов  
Наслаждались ароматом  
Старых жареных евреев.

Правнук черта Мендицабель  
Заложил потом все перлы  
Для покрытия дефицита  
В государственных финансах.

В Тюильри, в дворцовых залах,  
Вновь на свет они явились  
И сверкали там на шее  
Баронессы Соломон.

Вот судьба прекрасных перлов!  
Ларчик меньше приключений  
Испытал, — его оставил  
Юный Александр себе,

И в него сложил он песни  
Бесподобного Гомера,  
Своего любимца. На ночь  
Ставил он у изголовья

Этот ларчик, и оттуда,  
Чуть задремлет царь, вставали,  
В сон проскальзывали тихо  
Образы героев светлых.

Век иной — иные птицы  
Ах, и я любил когда-то

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Эти песни о деяньях  
Одиссея и Пелида,

И в душе моей, как солнце,  
Рдели золото и пурпур»  
Виноград вплетен был в кудри,  
И, ликуя, пели трубы.

Смолкни, память! Колесница  
Триумфальная разбита,  
А пантеры упряжные  
Передохли все, как девы,

Что под цитры и кимвалы  
В пляске шли за мной; и сам я  
Извиваюсь в адских муках,  
Лежа в прахе. Смолкни, память!

Смолкни, память!.. Речь вели  
Мы о ларчике царевом,  
И такая мысль пришла мне:  
Будь моим подобный ларчик,—

Не заставь меня финансы  
Обратить его в монету,—  
Я бы запер в этот ларчик  
Золотые песни рабби

Иегуды бен Галеви —  
Гимны радости, газеллы,  
Песни скорби, путевые  
Впечатленья пилигрима —

Дал бы лучшему цофару  
На пергаменте чистейшем  
Их списать, и положил бы  
Рукопись в чудесный ларчик,

И держал бы этот ларчик  
На столе перед кроватью,



Чтоб могли дивиться гости  
Блеску маленькой шкатулки,

Превосходным Барельефам,  
Мелким, но таким прекрасным,  
Инкрустациям чудесным  
Из огромных самоцветов.

Я б гостям с улыбкой молвил:  
«Это что ! — Лишь оболочка  
Лучшего из всех сокровищ:  
Там сияют -бриллианты,

Отражающие небо,  
Там рубины пламенеют  
Кровью трепетного сердца,  
Там смарагд обетованья,

Непорочные лазури,  
Перлы, краше дивных перлов,  
Принесенных Лже-Смердисом  
В дар пленительной Атоссе,

Бывших лучшим украшеньем  
Высшей знати в этом мире,  
Обегаемом луною:  
И Таис, и Клеопатры,

И жрецов, и грозных мавров,  
И испанских государынь,  
И самой высокочтимой  
Баронессы Соломон.

Те прославленные перлы —  
Только сгустки бледной слизи,  
Выделенья жалких устриц,  
Тупо прозябавших в море.

Мною ж собранные перлы

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Рождены душой прекрасной,  
Светлым духом, чьи глубины  
Глубже бездны океана,

Ибо эти перлы — слезы  
Иегуды бен Галеви,—  
Ими горько он оплакал  
Гибель Иерусалима.

И связал он перлы-слезы  
Золотою ниткой рифмы,  
В ювелирно стихотворства  
Сделал песней драгоценной.

И доньше эта песня,  
Этот плач великой скорби  
Из рассеянных по свету  
Авраамовых шатров

Горько льется в месяц аба,  
В день девятый — в годовщину  
Гибели Иерусалима,  
Уничтоженного Титом.

Эта песня — гимн сионский  
Иегуды бен Галеви,  
Плач предсмертный над священным  
Пеплом Иерусалима.

В покаянной власянице,  
Босоногий, там сидел он  
На поверженной колонне;  
И густой седою чащей

Волосы на грудь спадали,  
Фантастично оттеняя  
Бледный, скорбный лик поэта  
С вдохновенными очами.

Так сидел он там и пел,

---

Словно древний ясновидец,—  
И казалось, из могилы  
Встал пророк Иеремия.

И в руинах смолкли птицы,  
Слыша вопли дикой скорби,  
Даже коршуны, приблизясь,  
Им внимали с состраданьем.

Вдруг, на стремях качаясь,  
Мимо, на коне огромном,  
Дикий сарацин промчался,  
Белое копьё колебля,—

И, метнув оружие смерти  
В грудь несчастного поэта,  
Ускакал быстрее ветра,  
Словно призрак окрыленный.

Кровь певца текла спокойно,  
И спокойно песню скорби  
Он допел, и был предсмертный  
Вздых его: «Иерусалим!»

Молвит старое сказанье,  
Что жестокий сарацин  
Был не человек преступный,  
А переодетый ангел,

Посланный на землю небом,  
Чтоб унести любимца бога  
Из юдоли слез, без муки  
Взять его в страну блаженных.

В небе был он удостоен  
Крайне лестного приема,—  
Это был сюрприз небесный,  
Драгоценный для поэта.

Хоры ангелов навстречу

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Вышли с музыкой и пеньем,  
И в торжественном их гимне  
Он узнал свою же песню –

Брачный гимн синагогальный,  
Гимн субботний Гименею,  
Строй ликующих мелодий,  
Всем знакомых, — что за звуки!

Ангелы трубили в трубы,  
Ангелы на скрипках пели,  
Ликовали на виолах,  
Били в бубны и кимвалы.

И в лазурных безднах неба  
Так приветливо звенело,  
Так приветливо звучало:  
«Лехо дауди ликрас калле!»<sup>91</sup>

### 4

Рассердил мою супругу  
Я последнею главой,  
А особенно рассказом  
Про бесценный царский ларчик.

Чуть не с горечью она мне  
Заявила, что супруг  
Подлинно религиозный  
Обратил бы ларчик в деньги,

Что на них он приобрел бы  
Для своей жены законной  
Белый кашемир, который  
Нужен, бедной, до зарезу;

Что с Иегуды бен Галеви  
Было бы довольно чести

---

<sup>9</sup> "Выйди, друг, невесту встретить!" (древнеевр.)

Сохраняться просто в папке  
Из красивого картона,

По-китайски элегантно  
Разрисованной узором,  
Вроде чудных бонбоньерок  
Из пассажа «Панорама».

«Странно! — вскрикнула супруга. -  
Если он такой уж гений,  
Почему мне незнакомо  
Даже имя бен Галеви?»

«Милый друг мой, — отвечал я, —  
Ангел мой, прелестный неуч,  
Это результат пробелов  
Во французском воспитанье.

В пансионах, где девицам,  
Этим будущим мамашам  
Вольного народа галлов,  
Преподносят мудрость мира:

Чучела владык Египта,  
Груды старых мумий, тени  
Меровингских властелинов  
С ненапудренною гривой,

Косы мудрецов Китая,  
Царства пагод из фарфора,—  
Все зубрить там заставляют  
Умных девочек. Но, боже!

Назови-ка им поэта,  
Гордость золотого века  
Всей испано-мавританской  
Старой иудейской школы,

Назови им И бен Эзру,  
Иегуду бен Галеви,

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Соломона Габироля –  
Триединое созвездье,

Словом, самых знаменитых, –  
Сразу милые малютки  
Сделают глаза большие  
И на вас глядят овцой.

Мой тебе совет, голубка,  
Чтоб такой пробел заполнить,  
Позаймись-ка ты еврейским, –  
Брось театры и концерты,

Посвяти годок иль больше  
Неустанной штудировке –  
И прочтешь в оригинале  
Ибен Эзру, Габироля

И, понятно, бен Галеви –  
Весь триумвират поэтов,  
Что с волшебных струн Давида  
Лучшие похитил звуки.

Аль-Харизи — я ручаюсь,  
Он тебе знаком не больше,  
А ведь он остряк — французский,  
Он переострил Харири

В хитроумнейших макамах  
И задолго до Вольтера  
Был чистейшим вольтерьянцем, –  
Этот Аль-Харизи пишет:

«Габироль — властитель мысли,  
Он мыслителям любезен;  
Ибен Эзра — царь искусства,  
Он художников любимец;

Но достоинства обоих  
Сочетал в себе Галеви:

Величайший из поэтов,  
Стал он всех людей кумиром».

Ибен Эзра был старинный  
Друг,—быть может, даже родич,—  
Иегуды бен Галеви;  
И Галеви в книге странствий

С болью пишет, что напрасно  
Он искал в Гранаде друга,—  
Что нашел он только брата,  
Рабби Мейера — врача

И к тому же стихотворца  
И отца прекрасной девы,  
Заронившей безнадежный  
Пламень страсти в сердце Эзры.

Чтоб забыть свою красотку,  
Взял он страннический посох,  
Стал, как многие коллеги,  
Жить без родины, без крова.

На пути к Иерусалиму  
Был татарами он схвачен  
И, привязанный к кобыле,  
Унесен в чужие степи.

Там впрягли беднягу в службу,  
Недостойную раввина,  
А тем более поэта:  
Начал он доить коров.

Раз на корточках сидел он  
Под коровой и усердно  
Вымя теребил, стараясь  
Молоком наполнить крынку,—

Не почетное занятие  
Для раввина, для поэта!

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Вдруг, охвачен страшной скорбью,  
Песню он запел; и пел он

Так прекрасно, так печально,  
Что случайно шедший мимо  
Хан татарский был растроган  
И вернул рабу свободу,

Много дал ему подарков:  
Лисью шубу и большую  
Сарацинскую гитару,  
Выдал денег на дорогу.

Злобный рок, судьба поэта!  
Всех потомков Аполлона  
Истерзала ты и даже  
Их отца не пощадила:

Ведь, догнав красотку Дафну,  
Не нагое тело нимфы,  
А лавровый куст он обнял,—  
Он, божественный Шлемиль.

Да, сиятельный дельфиец  
Был Шлемиль, и даже в лаврах,  
Гордо увенчавших бога,—  
Признак божьего шлемильства.

Слово самое «Шлемиль»  
Нам понятно. Ведь Шамиссо  
Даже в Пруссии гражданство  
Дал ему (конечно, слову),

И осталось неизвестным,  
Как исток святого Нила,  
Лишь его происхождение;  
Долго я над ним мудрил,

А потом пошел за справкой,  
Много лет назад в Берлине,



К другу нашему Шамиссо,  
К обер-шефу всех Шлемилей.

Но и тот не мог ответить  
И на Гицига сослался,  
От которого узнал он  
Имя Петера без тени

И фамилию. Я тотчас  
Дрожки взял и покатил  
К Гицигу. Сей чин судебный  
Прежде звался просто Ициг,

И когда он звался Ициг,  
Раз ему приснилось небо  
И на небе надпись. Гициг,—  
То есть Ициг с буквой Г.

«Что тут может значить Г? —  
Стал он размышлять. — Герр Ициг  
Или горний Ициг? Горний —  
Титул славный, но в Берлине

Неуместный». Поразмыслив,  
Он решил назваться «Гициг»,—  
Лишь друзьям шепнув, что горний  
В Гициге сидит святой.

«Гициг пресвятой! — сказал я,  
Познакомясь. — Вы должны мне  
Объяснить языковые  
Корни имени Шлемиль».

Долго мой святой хитрил,  
Все не мог припомнить, много  
Находил уверток, клялся  
Иисусом, — наконец

От моих штанов терпенья  
Отлетели все застёжки,

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

И пошел я тут ругаться,  
Изощряться в богохульстве,

Так что пиетист почтенный  
Побледнел как смерть, затрясся,  
Перестал мне прекословить  
И повел такой рассказ:

«В Библии прочесть мы можем,  
Что частенько в дни скитаний  
Наш Израиль утешался  
С дочерями Моавитов.

И случилось, некий Пинхас  
Увидал, как славный Зимри  
Мерзкий блуд свершал с такой же  
Мадиамской уроженкой.

И тотчас же в лютом гневе  
Он схватил копье и Зимри  
Умертвил на месте блуда.  
Так мы в Библии читаем.

Но из уст в уста в народе  
С той поры передается,  
Что своим оружием Пинхас  
Поразил совсем не Зимри

И что, гневом ослепленный,  
Вместо грешника убил он  
Неповинного. Убитый  
Был Шлемиль бен Цури-Шадцай».

Этим-то Шлемилом Первым  
Начат был весь род Шлемилей:  
Наш родоначальник славный  
Был Шлемиль бен Цури-Шадцай.

Он, конечно, не прославлен  
Доблестью, мы только знаем

Имя, да еще известно,  
Что бедняга был Шлемилем.

Но ведь родовое древо  
Ценно не плодом хорошим,  
А лишь возрастом, — так наше  
Старше трех тысячелетий!

Год приходит, год проходит;  
Больше трех тысячелетий,  
Как погиб наш прародитель,  
Герр Шлемиль бен Цури-Шадцай.

Уж давно и Пинхас умер,  
Но копье его доныне  
Нам грозит, всегда мы слышим,  
Как свистит оно над нами.

И оно сражает лучших —  
Как Иегуда бен Галеви,  
Им сражен был Ибен Эзра,  
Им сражен был Габироль.

Габироль — наш миннезингер,  
Посвятивший сердце богу,  
Соловей благочестивый,  
Чьею розой был всевышний,—

Чистый соловей, так нежно  
Пел он песнь любви великой  
Средь готического мрака,  
В тьме средневековой ночи.

Не страшился, не боялся  
Привидений и чудовищ,  
Духов смерти и безумья,  
Наводнявших эту ночь!

Чистый соловей, он думал  
Лишь о господе любимом,

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Лишь к нему пылал любовью,  
Лишь его хвалою славил!

Только тридцать весен прожил  
Вещий Габироль, но Фама  
Раструбила по вселенной  
Славу имени его.

Там же, в Кордове, с ним рядом,  
Жил какой-то мавр; он тоже  
Сочинял стихи и гнусно  
Стал завидовать поэту.

Чуть поэт начнет, бывало,  
Петь — вскипает желчь у мавра,  
Сладость песни у мерзавца  
Обращалась в горечь злобы.

Ночью в дом свой заманил он  
Ненавистного поэта  
И убил его, а труп  
Закопал в саду за домом.

Но из почвы, где зарыл он  
Тело, вдруг росток пробился,  
И смоковница возникла  
Небывалой красоты.

Плод был странно удлиненный,  
Полный сладости волшебной,  
Кто вкусил его — изведal  
Несказанное блаженство.

И тогда пошли в народе  
Толки, сплетни, пересуды,  
И своим светлейшим ухом  
Их услышал сам калиф.

Сей же, собственноразлично  
Насладившись феноменом,

Учредил немедля строгий  
Комитет по разысканью.

Дело взвесили суммарно:  
Всыпали владельцу сада  
В пятки шестьдесят бамбуков –  
Он сознался в злодеянье;

После вырыли из почвы  
Всю смоковницу с корнями,  
И народ узрел воочью  
Труп кровавый Габироля.

Пышно было погребенье,  
Беспредельно горе братьев.  
В тот же день калифом был  
Нечестивый мавр повешен.

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

### מיחא יוסעף לעבעזן (1828-1852)

YEHUDA HALEVI

*Upon the ashes of her burnt site they throw themselves,  
And they wallow in the lap of her desolation.*  
(Adam Hacohen Lebenzon)

There to Jerusalem, the gate of heaven,  
Where the Levites once sang their song,  
Yehuda Halevi also arrived,  
Eager to pour there his mighty songs.

His heart was broken, his spirit – spent,  
And the tears in his eyes boiled like in a cauldron;  
His bewailing violin also kept silent,  
And the daughters of his song lay low in his heart.

He had abandoned his homeland,  
A beloved wife and daughters two;  
Like a wandering bird he flew eastward  
To a country he loved more than the pupil of his eye.

The land he once believed was a second paradise;  
Together with The tree of knowledge waving in its  
soaring spirit  
It also offered one the tree of life,  
And the spirit of God was roaming in it.

Its gates were also those of heaven,  
Because on its throne God Himself was prevailing,  
A land where each stone was the altar of a living God,  
Each rock – the podium for a prophet.

To this holy region his soul yearned,  
To find himself on the mountains of Zion a burial place;  
In visions and dreams he saw it, the place  
Where his musings would soar like eagles.

ר' יהודה הלוי

על אפר מוקדה שמה יתנפלו  
ובחיק שממתה בבכי יתגלגלו.  
(שירי שפת קדש, 100)

שם לירושלים שער הרקיע  
למקום הלויים שיריהם אז שרו,  
ויהודה הלוי גם שם הגיע –  
ילקונו שם נכסף שיריו נאדרו.

לבו בו נשבר, אף רוחו נבקה,  
ודמעות תוד עיניו פסיר רתחו;  
גם קינת כנורו פה התאפקה,  
ובנות שירו כלן תוד לבו שחו.

את ארצו הוא נטש ארץ מולדת,  
אשת אהובה, ובנות השתים;  
קדים שם פניו כצפור נודדת,  
אל ארץ אהב מבבת עינים.

הארץ גן עדן שני היתה,  
בה עץ הדעת כי רוחה רמה –  
גם היא עץ חיים לאדם הראתה,  
גם רוח אלהים מתהלך שמה.

ושעריה הם גם שערי שמים  
כי על כס מלכותה ישב אלוה;  
ארץ, כל אבן בה – מזבח אל חיים,  
כל סלע מקמד לנביא אל גבוה.

למחוז קדש הזה נפשו כלתה,  
שם על הררי ציון לחצוב לו קבר;  
ובמראה ובחלום היא לו נראתה,  
שם שרעפיו כנשרים יעלו אבר.

In a howling storm he stood,  
When an eastern wind wrecked terrible havoc,  
Enveloping the ship from all sides,  
Raising the breakers up as if to quench the fire of the sun.

Amid horrendous thunders and blinding lightnings  
On the deck of the ship he stood steadfast;  
Meeting eye to eye with death,  
He was glad when he remembered the holy land.

Then he called upon the daughters of his song and  
they responded,  
And Yehuda then sang a song most elevated;  
And the sirens of the sea, with their beautiful voices,  
Echoed a man singing upon high waters like a prophet.

The storm itself was hushed, the breakers – silenced;  
The thunder on high lost its voice;  
The huge expanses of water stopped rolling –  
All of them subjugated by the mighty voice of the Levite.

Then the ship, lead by oar, reached the land,  
And in a minute his foot stepped on the holy soil.  
How his heart throbbed; how his soul stormed.  
Reaching land he almost lost his spirit in it.

His tears like a sea wetted the land  
As he kissed the soil with his mouth,  
The tears being quickly absorbed by  
The sand of this land of his, now dry and devastated.

Then he quickly made his way to the eternal ruins.  
There – alas! – he met only wild animals!  
Everything holy was possessed by the children of sin  
and murder,  
Savages more cruel than the animals of the forest.

בין קללת סופה וסערה הומיה,  
בפגוש מקדים רוח שוד ואמם  
וצנפה כדור צנף האנניה,  
וירמו גלים כבות אש שמש;

בין רעמי שואה וחוזי צלמות  
על גג הספינה הוא עומד בוטח;  
עין לעין ראה את המות –  
זכור ארץ קדשו והוא שמח.

ויקרא לבנות שירו ותהימינה,  
ויהודה אז ישיר שיר מה גבוה!  
ובנות הים ביפי קולן תדמינה  
אל איש שר על מים כנביא אלוה!

גם סער עמד, גם גלים שיתוקו,  
גם רעם בגלגל קול לא ישמיע!  
אף כפירים מים לא ישקו  
לשאון קול הלוי רגע הריע.

שוב אל חוף הים האננה חתרה,  
חיש על אדמת קדש רגלו דרכה;  
מה המה לבו, מה נפשו סערה!  
ולחיק ארץ כמעט רוחו נשפכה.

ידמעות פים מעיניו נהרו  
מנשיקות פיהו ישק האדמה;  
חיש התבוללו הדמעות נגרו  
בעפר ארצו זו – כי היתה לשממה.

אז מהר ללכת אל משואות נצח  
שם אף חיתו טרף – הוי שוד  
ושער!  
כל קדש ישכו ילדי און ורצח  
ופראים אכזרים מחיתו יער.

## OT PREEMSTVENNOSTI K SOPRIKOSHOVENIYU

In total darkness, at midnight,  
He sheds tears on the tomb of Isaiah:  
"Is this the man who raised his voice like a God?  
How come his burial ground is a desolate wasteland?!"

He looked at the burial place of Jeremiah,  
The man whose wailings drew tears from the very  
walls of Zion:  
All the tears of his people were channeled into his eyes,  
All the groans of its dead sounded through his mouth.

Alas! No use wailing and complaining over his tombstone.  
It is desolate, its blades of grass – dry and yellow,  
The owl sounds its dirges over the tomb of the bewailer,  
And wolves snarl there at their prey.

He went to Mount Carmel, the crown of the land,  
A mountain beloved by seers for its lush vegetation;  
Now, frequented only by storms, the mountain,  
Bald, lies still like a huge cadaver.

And if in a crevice the lily still raises its head  
And the lovely rose still offers its sweet smell,  
There is nobody to rejoice over them,  
They flourish and wilt unseen.

And the daughters of Zion – Alas, the beloved ones  
(Now exiled and persecuted in foreign lands),  
Don't wear them in wreaths over their heads,  
Nor lustily dance around them.

Dawn is still shiny and beautiful,  
But no violins wake it up, as in the days of yore:  
The Sharon with its flowers is still magnificent,  
But there are no prophets to sing its beauty.

The heart of the poet heats up, his innards boil;  
His feet in haste turn to the cedars of Lebanon.  
These ancient trees had witnessed the childhood of Zion;  
They also heard the groan of its demise.

וּבְאֶשׁוֹן אֶפְלָה וּדְמֵי הַלַּיִל  
עַל קֶבֶר בְּרוּ-אֶמְנוֹץ עֵינָיו בּוֹכִיָּה ;  
"הֲזֶה הִרְעִים כָּאֵל בְּעֵז וְחֵיל,  
אֵיךְ קִנְנוּ עַל קֶבְרוֹ שְׁמָה וּשְׂאֵמָה!"

קֶבֶר בְּרוּ-חֶלְקִיָּה עֵינָיו הִשְׁקִיפוּ ;  
אִישׁ לִבְכִיתוֹ חוֹמוֹת צִיּוֹן דָּמְעוּ,  
כָּל דְּמָעוֹת עִמּוֹ מִעֵינָיו הִצִּיפוּ,  
כָּל אֲנָקוֹת מוֹתֵיהָ מִפִּיו נִשְׁמָעוּ.

הֵה! לְשׂוֹא עַל קֶבְרוֹ זֵמֵר, יִתְאֻגֵּן –  
שְׁמֵם הַקֶּבֶר וּדְשָׁאִיו נִחְרוּ,  
הַיְנָשׁוֹף יִלְלֵל עַל קֶבֶר הַמְקוֹנֵן  
וְזֹאבֵי עָרֵב עַל טְרֶפֶס יְנַעְרוּ.

כֶּרְמֵל חָזָה עַל רֹאשׁ צִיּוֹן עֶטְרֵת,  
הַר חֲמָדוֹ חוֹזִים, כָּל צִיץ בּוֹ פוֹרֵחַ –  
עֲתָה סוֹפְתָה אֲדָּה עָלָיו סוּעָרֵת,  
וּכְפָגֵר עֲנֵק הוּא דוֹמֵם קָרֵחַ.

וְלִרְגְלָיו אִם עוֹד תִּפְרַח הַחִבְצֵלֵת  
וְחֲמוּדָה שׁוֹשְׁנָה תִפְיֵץ נִיחוּחַ –  
אֲדָּה, הֵה, הִיא תִנָּץ תִּפְרַח אֶף נוֹבְלֵת  
מֵאִין אִישׁ עָלֶיהָ יִשְׁמַח שְׂמִיחָה.

וּבְנוֹת צִיּוֹן לֹא עוֹד – אוֹהֵה הִקְרוֹת!  
(הוּ גוֹלוֹת סוֹרוֹת בְּאֶרְצוֹת נְכָרִיּוֹת)  
אוֹתָן עַל רֹאשׁוֹן תִּעֲנֹדֶנָּה עֶטְרוֹת,  
לֹא עוֹד תִּצְאָנָה בְּמַחֲלוֹת הוֹמִיּוֹת.

עוֹד בִּיפֵי נִגְהוּ הַשַּׁחַר זוֹרֵחַ,  
אֲדָּה עוֹד כְּנוֹרִים אוֹתוֹ יְעִירוּ ;  
עוֹד בְּנִעִים הוֹדוּ הַשָּׁרוֹן פּוֹרֵחַ,  
אֲדָּה לֹא עוֹד הַנְּבִיאִים עָלָיו יִשִּׁירוּ.

חֵם לֵב הַמְשׁוֹרֵר, כְּלִיּוֹתָיו יִהְיֶימוּ,  
אֶל אֶרְזֵי הַלְבָּנוֹן חִישׁ רְגְלָיו נָעוּ –  
עוֹד יִלְדוּת בַּת צִיּוֹן הֵם אִזְ חֲזָיו,  
גַּם אֲנָקַת מוֹתָהּ עוֹד הִמָּה שְׁמָעוּ.



They participated in its happiness and its bereavement,  
For they offered their timber for building its palaces;  
Violins and harps had been made of their wood,  
And for its cemeteries they tendered coffins.

Alas, These giants, the dwellers of heaven,  
Whose heads were covered with eternal snow  
And their shoulders washed by mighty rains,  
These hoary old timers –

They bowed their heads over the poet  
As if they were grieving over Zion's decline;  
Then his heart, full of sound, like a violin,  
Emitted holy songs as sweet as honey.

Then he sang his song: "Zion, Do You Not Enquire" ...  
The cedars stopped moving, made no rustle,  
As if they urged the song not to stop!  
For they heard in it once again Jeremiah's dirges.

He sang in the Lebanon and all the creatures were hushed still,  
For the spirit of God enveloped his words;  
And when his song was concluded with the words  
"your early youth,"  
Then he fell into a deep slumber.

In his dream he was taken to the kingdom of death.  
Suddenly the tombs' mouths gaped open,  
And the dead rose up from underneath them –  
The blood of the poet curdled with dread.

The dead of Zion left their graves,  
Those who had been vanquished and slaughtered  
because of their faith,  
They were hacked and wounded, broken and crushed,  
Burnt at the stake and drowned in deep water.

מגילה גם אבֿלה לקחו למו חבל,  
כי נתנו עצים לבנות בו ארמונים,  
ולהיכלי תענוגות – פנור ונגבל,  
ולבתי-עולם – עץ קבר וארונים.

אלה הנפילים ושכני שמים  
על ראשם רבץ שלג עולמים,  
אף גשמו פתפיהם ממטר עז מים,  
אלה הישישים ושבעי רב ימים.

על ראש המשורר ראשיהם הניעו,  
ויכלאו על ציון גם הם ואבלו,  
אז המו מעיו בפנור הריעו,  
מפיו זמרות קדש בצוף נזלו ;

אז שר שירו "ציון הלא תשאלי" ...  
דמו הארזים לא עוד נדו נעו,  
ויכמו אמרו לקינה : אל תחדלי!  
כי קינות ירמיהו שנית ישמעו.

הוא שר בלבנון – כל חי בו נדמו,  
כי רוח אל שדי מפיו נאצלה ;  
ויבניב "קדמות נעוריד" מליו תמו,  
כי תרדמות יה אז עליו נפלה.

אז הובא בחלום אל ממלכות המות –  
ופתע הקברות פיהם פערו,  
קאו הרפאים מתחת מצבת,  
ודמי המשורר קפאו נצררו.

מתי ציון הפה קמו מקבר,  
ובעד אלהימו אז הרגו הכרעו ;  
אד מכים ופצועים שבר על שבר,  
ושרופי מוקד ובמים טבעו.

## OT ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

Pierced by lances and consumed by hunger,  
Thrown to lions and decimated by the plague,  
The sanctifiers of Gods' Name day in day out  
For the sake of their people – alas! – they descended  
into their graves.

From every corner of the earth they were called,  
Their faces – rotten, covered with worms,  
Their skeletons – bare, their eyes – gouged out,  
And in the sockets of the eyes the vermin crawled.

Among those who fled their graves were also the  
prophets.  
Here is Isaiah, as eloquent as a God,  
His body – wounded, his face – torn up,  
His loins – covered with sack, and he shouts and screams –

There is Jeremiah – his face so somber!  
The locks over his head – covered with dust and ashes,  
His face besmirched with mud,  
In his hand he holds a scroll, his Book of Dirges.

There Uriah and Zachariah totter,  
From their hearts, where the sword is still stuck, blood  
pours out;  
All those who had been killed for the sake of their  
faith congregated there,  
Their flesh wounded, their chests slashed open.

Then they all surrounded the poet,  
Staring at him through their eyeless sockets,  
Silently beaconing to him to come closer,  
Stretching toward him their skeletal arms.

But as the hands of the dead touched him,  
And the frightful dream was still storming in his heart,  
Suddenly also the hand of the living – Oh, horror and  
crime! –  
And a sword held in it pierces his body!

גם אֶכְוֹלֵי רָעָה וּדְקוּרֵי חֶרֶב  
מִשְׁלָכִים לְכַפִּירִים וּלְחַמֵי דָבָר,  
מִקְדִּישֵׁי שֵׁם הָאֵל בְּקֶרֶב וְעָרֵב –  
וּבְעֵד עַמִּים, הֵהָ, הֵם יָרְדוּ אֶזְ קַבְרֵי!

מִקְצוֹת אֶרֶץ שֵׁם כָּל־סוֹעֲקוֹ –  
וּפְגִימָהּ מִרְקָב, מִתּוֹלַע בָּלוּ,  
שָׁפוּ עֲצָמוֹתָם, עֵינֵיהֶם נִמְקוּ,  
וּבְחוּרֵי עֵינֵימוֹ רָמָה יִזְחָלוּ.

גַּם חוֹזֵי אֵל שְׂדֵי מִבּוֹר נִמְלְטוּ,  
שָׁמָּה בֶן-אָמוֹץ כְּאֱלֹהִים יִשְׂחָה,  
גִּזְוֹ פְצוּעַ וּלְחֵיָיו מִרְטוּ,  
עַל מִתְנָיו שָׁקַ, יָרִיעַ אֶף יִצְרִיחַ.

שֵׁם בֶּן-חֶלְקִיָּה, פָּנָיו מֵה קִדְרוֹ!  
עַל תַּלְתְּלֵי רֵאשׁוֹ אֶבֶק וְאַפָּר,  
וּבִטִיט וּבֹץ פָּנָיו מִמְרַמְרוֹ –  
בִּימֵינוּ הַקִּינּוֹת בְּמַגֵּלֶת סֵפֶר.

אִוְרִיָּה וּזְכַרְיָה שֵׁם יִתְנוּדְדוֹ,  
מִלְבָּב יְזוּב דָם רִמַח תִּקְוֶעַ;  
כֹּל מוֹמֵת עַל דָּתוֹ שָׁמָּה נוֹעֲדוּ –  
וּמִתּוֹם אֵין בָּם וְסָגוֹר לְבָב קְרוּעַ.

אֶז סָבִיב לְמִשׁוֹרֵר כָּל־סָבִאוּ  
וּבְחוּרֵי אֵין-עֵין אֱלֹיוּ הִבִּיטוּ;  
גִּשְׁתְּ אֱלֵימוֹ – לוֹ דוֹמָם יִקְרָאוּ,  
וּיְדֵי עֲצָמוֹת עַל כֶּן לוֹ הוֹשִׁיטוּ,

וּיְדֵי מִתִּים עוֹדֵם נוֹגְעִים בּוֹ יַחַד,  
עוֹד חֶרְדַּת הַחַלּוֹם עַל לְבוֹ סוֹעֲרָת;  
פְּתָאוֹם גַּם יַד חַי, – הוּא הַמָּס  
נִפְתַּח! –  
גַּם חֶרֶב יַד חַי, הוּא בּוֹ חוֹדְרָת!

The sword of a cruel man pierced a dreaming heart.  
The poet's blood left him in rivulets!  
And as his blood gushed out his soul also dissolved.  
"You are like us!" the dead shouted.

But a pleasurable smile rather than the agony of  
death,  
A beautiful splendor rested over his face;  
His dream came to an end – a dream of bitter death!  
But the poet would never open his eyes again.

As soon as he fell asleep, desolate and fatigued,  
A cruel, stone hearted Arab –  
The brother of the tiger and the friend of the snake –  
With a malicious sword stamped upon him murder.

The people of Judea will never forget his holy name;  
When on the ninth of Av they bewail the fate  
Of ransacked Zion with Jeremiah's dirges,  
Then his song will also bring tears to their eyes.

From Hebrew: Dan Miron

חֶרֶב אֶכְזֹר חַי לֵב חוֹלֵם חֲדָרָה,  
כְּאִפְיָקֵי מַיִם, הוּא, דְּמִיו נִצָּאוּ!  
וּבְזָרְמַת דָּמוֹ גַּם נִפְשׁוֹ נִגְרָה:  
"לָנוּ נִדְמִיתָ!" הַמֵּתִים קָרְאוּ.

וְצִחוק תִּעֲנוּגִים, לֹא חֲרָדַת צְלִמְנוֹת,  
אֵךְ הוֹד נֵעֵם יָה חֲפֹף עַל פְּגִיחָהוּ;  
פֹּה תֵם חִלּוּמוֹ. – הוּא, חִלּוּם מֵר  
מְנוֹת!  
אֵךְ הַמְשׁוֹרֵר לֹא עוֹד פֶּתַח עֵינָיָהוּ.

כִּי אֵךְ נִרְדָּם מִשְׁמַיִם נִגְעָה,  
וְעֶרְבֵי אֶכְזָרֵי עוֹ לֵב וּמִצַּח  
הוּא אֶח לְנִמְר, הוּא לְפִתְנֵן רֶעַ! –  
בְּחֻמַּת חֶרֶב רָעָה שָׁלַח בּוֹ רָצַח.

זְכֹר שֵׁם קִדְשׁוֹ לֹא יִסּוּף מִיְהוּדָה;  
צוּם הַחֲמִישִׁי עַל קִינּוֹת בֶּן-חֶלְקָה  
עַת תִּתְיַפַּח בַּת-צִיּוֹן הַשְּׂדוּדָה –  
אֲזַן גַּם אֶל שִׁירוֹ זֶה עֵינָהּ בּוֹכָה.

Шолом-Алейхем (Ш. Н. Рабинович, 1859-1916)

### Из книги «Тевье-молочник»

#### ШПРИНЦА

Большой и сердечный привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам, вам и детям вашим! Сто лет мы с вами не видались! Батюшки, сколько воды с тех пор утекло! Сколько горя оба мы, да и весь народ наш, пережили за эти несколько лет. Кишинев, «коснетуция», погромы, беды да напасти, – ах ты господи владыко небесный! Я даже удивляюсь вам, – извините, что прямо скажу, – ведь вы же и на столечко не изменились, – тьфу, тьфу, не сглазить бы! А на меня взгляните: шестидесяти еще нет, а как поседел Тевье! Шутка ли, «муки воспитания детей» чего только от них не натерпишься! А кому еще на долю выпало столько горя из-за детей, сколько мне? У меня новая беда стряслась – с дочкой Шпринцей, да такая беда, что ее и сравнить нельзя с тем, что было раньше. И тем не менее, как видите, ничего, живем... Как это там сказано: «Не по своей воле жив человек», – хоть лопни, а напевай песенку:

Что мне жизнь и что мне целый свет,

Если нету счастья, если денег нет?

Словом, как в писании сказано: «И возжелал всевышний удостоить своей милостью», – захотел господь бог облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье – коснетуция. Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег... Ну, а коль скоро из Егупца разъехались, так уж и Бойберик с его воздухом, лесом и дачами насмарку пошел... Но велик наш бог, чье око не дремлет и неусыпно следит, как бы бедняки не перестали мучиться на белом свете, – и выдалось у нас лето – ай-ай-ай! Понаехали к нам в Бойберик из Одессы, из Ростова, из Екатеринослава, из Могилева, из Кишинева тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков! Видать, коснетуция эта самая там еще свирепее, чем у нас в Егупце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки. Вы, пожалуй, спросите, чего они бегут к нам? На это есть один ответ: наши чего бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось: чуть только заговорят о погромах, евреи начинают метаться из одного города в другой, как в писании сказано: «И ехали, и отдыхали, отдыхали и снова ехали», – что означает – вы к нам, а мы к вам... Между тем Бойберик, можете себе представить, превратился в большой город, полно народу, женщин и детей. А дети любят покушать, им молоко да масло подавай... А где взять молочное, как не у Тевье? Короче говоря, Тевье вошел в моду. Со всех сторон: Тевье и Тевье! Реб Тевье, пожалуйста, сюда! Реб Тевье, зайдите ко мне! Шутка ли, когда бог захочет...

Однажды случилось такое дело. Было это накануне пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к одной из моих покупательниц, к молодой богатой вдове из Екатеринослава. Поселилась она в Бойберике на лето с сыном Арончиком и, сами понимаете, первым делом познакомилась со мной.

– Мне, – говорит она, вдова то есть, – вас рекомендовали. У вас, говорят, самые лучшие молочные продукты.

– Еще бы! – отвечаю. – Недаром царь Соломон сказал, что доброе имя гремит по свету, аки трубный глас. А если хотите, – говорю, – могу вам рассказать, как толкует это место мидраш...

Но она, вдова то есть, перебивает меня и говорит, что она – вдова и в таких вещах мало сведуща. Не знает, мол, с чем это едят... Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный... Ну, поди поговори с женщиной!

Словом, я стал бывать у екатеринославской вдовы дважды в неделю – по понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже не спрашиваю, нужно или не нужно. Стал своим человеком и по обыкновению начал приглядываться к порядкам в доме, сунул нос на кухню, сказал раз-другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтоб не вмешивался, чтоб не заглядывал в чужие горшки. В другой раз, однако, прислушались к моим словам, а там и советоваться со мной стали: вдова разглядела, кто такой Тевье. Дальше – больше, и вот однажды открыла она мне свое сердце. С Арончиком у нее беда! Помилуйте, парню двадцать с лишним лет, а у него одни лошади да «лиса-пед» на уме, да еще рыбная ловля, а больше, говорит, он знать ничего не желает. Слышать не хочет ни о делах, ни о деньгах. Отец оставил ему приличное наследство, почти что миллион, а он даже не интересуется! Только и знает – тратить, руки у него, говорит, дырявые!

– Где он, – спрашиваю, – ваш сынок? Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его малость уму-разуму, приведу парочку изречений?

А она смеется:

– Что вы! Вы ему коня приведите, а не изречение!

Говорим мы, и вдруг посреди нашего разговора «появилось дитяtko» пожаловал Арончик собственной персоной... Здоровенный такой детина, стройный, как сосна, кровь с молоком. Широкий пояс прямо, извините, на штанах, часики в кармашке, рукава засучены повыше локтей.

– Где ты был? – спрашивает мать.

– Катался на лодке, – отвечает, – рыбу удил...

– Прекрасное занятие, – говорю я, – для такого паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить!

Взглянул я на мою вдову, – покраснела как маков цвет, даже в лице изменилась. Наверное, думала, что сынок схватит меня ручищей за шиворот, надает, сколько

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

влезет, оплеух и вышвырнет, как битый горшок... Глупости! Тевье таких штук не боится! У меня – что на уме, то на языке!

И что же вы думаете? Услыжав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по-особенному, окинул меня взглядом с головы до пят да вдруг как расхохочется! Мы даже испугались, – уж не рехнулся ли часом? И – знаете, что я вам скажу? – с этих самых пор мы с ним подружились, лучшими приятелями стали! Должен признаться: парень мне с каждым разом все больше нравился. Правда, – мот, шалопай, деньгам счета не знает и к тому же с придурью. Встретит, к примеру, нищего, сунет руку в карман и подаст, не считая. Ну, кто так делает? Или снимет с себя пальто, целехонькое, новенькое и отдаст первому встречному. Ну, что говорить, когда у человека не все дома! Мать, бедную, от души было жаль! Плачется мне, бывало, – что делать? Просит меня, чтобы я с ним потолковал. Я, конечно, готов: жалко мне, что ли? Денег стоит? Принимался рассказывать ему истории, приводил примеры, изречения, притчи, – как Тевье умеет. А он как раз любил меня послушать, расспрашивал о моем житье-бытье, какие у меня порядки в доме.

– Хотел бы я, – говорит он однажды, – как-нибудь побывать у вас, реб Тевье.

– За чем же дело стало? Хотите побывать у Тевье, прокатитесь разок ко мне на хутор. У вас достаточно лошадей и лисапедов. А в крайнем случае можно и пешком пройтись, – авось ноги не отвалятся! Это недалеко, только лес пересечь...

– А когда, – спрашивает он, – вы бываете дома?

– Меня, – говорю, – можно застать дома только в субботу или в праздник.

Погодите-ка, знаете что? В будущую пятницу у нас пятидесятница. Если хотите, прогуляйтесь к нам на хутор, моя жена угостит вас молочными блинчиками, да такими... – и добавляю по древнееврейски: – каких наши предки и в Египте не едали...

– Что это значит? – спрашивает он. – Вы же знаете, что по части древнееврейского я не очень-то силен.

– Знаю, – говорю, – что вы не очень-то сильны. Если бы вы учились в хедере, как я когда-то учился, вы бы тоже кое-что кумекали...

Рассмеялся он и говорит:

– Ладно! Буду вашим гостем: в первый день праздника приеду, реб Тевье, кое с кем из моих знакомых к вам на блинчики, только уж вы, – говорит, – смотрите, чтоб горяченькие были!

– С пылу, с жару! – отвечаю. – Со сковородки – прямо в рот!

Приезжаю домой и говорю своей старухе:

– Голда, у нас будут гости на праздник.

– Поздравляю! – отвечает. – Кто такие?

– Об этом после узнаешь, – говорю. – Ты приготовь побольше яиц; сыра и масла у нас достаточно. Напечешь блинчиков на три персоны, но на такие персоны, которые не дураки покушать, а в писании ничего не смыслят!

– Наверное, – говорит она, – напросился какой-нибудь растяпа из голодающей губернии?

– Глупая ты, Голда! Во первых, – говорю, – не велика беда, если мы бедного человека накормим праздничными блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госпожа Голда, что одним из наших гостей будет сынок вдовы, тот самый Арончик, о котором я тебе рассказывал.

– Ну, – отвечает она, – это совсем другое дело!

Вот она, сила миллионов! Даже моя Голда, едва почует деньги, совсем другим человеком становится. Таков мир, что и говорить! Как это в молитве сказано: «Сребро и злато – дело рук человеческих, – деньги губят человека».

Короче, – наступил радостный, зеленый праздник. О том, какая красота у меня на хуторе в эту пору, как там зелено, светло и тепло, вам рассказывать нечего. Самый крупный богач у вас в городе мог бы пожелать себе иметь такое голубое небо, такой зеленый лес, такие пахучие сосны, такую чудесную траву корм для коровок, которые стоят, жуют и смотрят вам в глаза, будто желая сказать: «Вы нас всегда такой травкой кормите, а уж молока мы вам не пожалеем».

Нет, говорите что хотите, предложите мне самое прибыльное дело, но если для этого понадобится переехать из деревни в город, я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится: «Небеса – чертог господен», – только богу под стать такое небо! В городе, если голову задерешь, – что увидишь? Дом, крышу, трубу. Но разве есть там такие деревья? А уж если и попадетса деревцо, так вы на него хламиду напяливаете.

Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они, четыре молодца, верхом. Лошадки – одна другой лучше. А уж под Арончиком была лошадка... Жеребец! Настоящий мерин! За триста рублей такого не купишь.

– Милости просим, дорогие гости! – говорю я. – Это вы что же ради праздника решили верхом прокатиться? Да ладно! Тевье не такой уж праведник, а если вас, даст бог, на том свете посекут за это, – не мне больно будет... Эй, Голда! Присмотри-ка там, чтобы блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор, в доме мне перед гостями хвастать нечем... Эй, Шпринца, Тайбл, Бейлка! Куда вы там запропастились? Пошевеливайтесь!

Командую я эдак, и вот вынесли стол, стулья, скатерть, тарелки, ложки, вилки, соль и тут же – Голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо со сковороды, вкусными, жирными – объедение! Гости мои нахвалиться не могут...

– Чего ты стоишь? – говорю я жене. – Повторить надо ради праздника! Сегодня у нас пятидесятница, а в этот день стих «хвалю тебя» произносят дважды!

Голда, недолго думая, снова наполняет миску, а Шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего Арончика и вижу, что он загляделся на мою Шпринцу глаз с нее не сводит. Что он такое на ней увидел?

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

– Кушайте! – говорю я ему. – Почему вы не едите?

– А что же я, по-вашему, делаю? – спрашивает он.

– Вы, – говорю, – смотрите на мою Шпринцу...

Поднялся хохот, все смеются, смеется и Шпринца. И всем весело, радостно...

Чудесный, славный праздник! Поди знай, что радость эта обернется бедой, несчастьем, горем, наказанием божьим на мою голову!.. Но что говорить! Человек глуп! Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу, надо понимать, что как есть, так и следует быть. Ибо, если бы должно быть иначе, то и было бы не так, как есть. Разве не читаем мы в псалмах: «Уповай на бога», – ты, мол, только понадейся на него, а уж он постарается, чтоб тебя в три погибели согнуло... Да еще скажешь: «И то благо!» Послушайте, что может случиться на белом свете, но прошу вас, слушайте внимательно, так как только сейчас и начинается настоящая история.

«И бысть вечер, и бысть утро», – однажды вечером приезжаю домой распаренный, измученный беготней по дачам в Бойберике и застаю во дворе около дома привязанного к дверям знакомого коня. Готов поклясться, что это конь Арончика, тот самый мерин, которого я в триста целковых оценил. Подошел я к нему, шлепнул его по боку, пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, говорю, друг сердечный, что ты тут делаешь?» А он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными глазами, будто сказать хочет: «Что меня спрашивать? Хозяина спроси».

Вхожу в дом и принимаюсь за жену:

– Скажи-ка мне, Голда-сердце, что тут делает Арончик?

– А я почему знаю? – отвечает она. – Ведь он из твоих дружков.

– Где же он?

– Ушел, – говорит, – с детьми в рощу на прогулку.

– Что за прогулки ни с того ни с сего? – говорю и велю подавать на стол.

Поужинал и думаю: «Чего ты, Тевье, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости, что же тут волноваться? Наоборот...»

А в это время гляжу: идут мои девицы с этим молодчиком, в руках букеты, впереди обе младшие – Тайбл и Бейлка, а позади Шпринца с Арончиком.

– Добрый вечер!

– Здравствуйте!

Арончик подошел ко мне – какой-то странный, поглаживает коня, жует травинку.

– Реб Тевье, – говорит он, – хочу с вами дело сделать. Давайте лошаdkами поменяемся.

– Не нашли, – говорю, – над кем смеяться?

– Нет! – отвечает. – Я это серьезно.

– Вот как? Серьезно? Сколько же, примерно, стоит ваша лошадка?

– А во сколько, – спрашивает, – вы ее цените?

– Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста, а может быть, и с гаком!

А он смеется и говорит, что конь стоит больше чем втрое. И опять:



– Ну как? Меняемся?

Не понравился мне этот разговор: ну, что это значит – он хочет выменять своего коня на мою развалину? Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку: неужто он специально ради этого приехал? «Если так, говорю, то зря потратились...» А он мне серьезно:

– Приехал я к вам, собственно, по другому делу. Если вам угодно, пойдемте не-много прогуляемся.

«Что за прогулки такие?» – подумал я и направился с ним в рощу. Солнце уже давно село. В роще темно, лягушки у плотины квакают, от травы аромат благодать! Арончик идет, и я иду, он молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит:

– Что бы вы сказали, реб Тевье, если бы я, к примеру, сообщил вам, что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться?

– Что бы я сказал? – говорю. – Я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычеркнуть, а вас вписать...

Посмотрел он на меня и спрашивает:

– Что это значит?

– А вот то и значит! – говорю.

– Не понимаю.

– Значит, – говорю, – сметки не хватает. Как в писании сказано: «Очи мудреца в голове его...» Понимать это надо так: – умному – мигнуть, а глупому – палкой стукнуть...

– Я говорю с вами прямо, – отвечает он обиженно, – а вы все шуточками да изречениями отделяетесь...

– Ну что же, – говорю я. – Каждый кантор по-своему поет, а каждый проповедник для себя проповедует... Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего со своей мамашей, – уж она вам все обстоятельно разъяснит...

– Что же я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться?

– Конечно, – говорю, – вы должны спроситься у матери. А мать вам, наверное, скажет, что вы не в своем уме, и будет права.

– И будет права?

– Конечно, – говорю, – будет права. Посудите сами, какой же вы жених для моей Шпринцы? Разве она вам ровня? А главное, какво-то вашей матери породниться со мною?

– Ну, если так, – отвечает он, – то вы, реб Тевье, глубоко ошибаетесь. Я не восемнадцатилетний мальчик и вовсе не намерен подыскивать родственников для моей мамаш. Я знаю, кто вы такой и кто ваша дочь... Она мне нравится, я так хочу, и так оно и будет!

– Извините, – говорю, – что перебиваю. С одной стороны, насколько я вижу, вы уже поладили. А как обстоит дело с другой стороной?

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

– Не понимаю, о чем вы говорите.

– Я имею в виду, – говорю, – свою дочь, Шпринцу... С ней вы уже говорили? Что она вам сказала?

А он будто обиделся и говорит с улыбкой:

– Ну, что за вопрос! Конечно, говорил с ней и не один, а несколько раз. Ведь я сюда каждый день приезжаю.

Понимаете? Он ежедневно сюда приезжает, а я даже не знаю об этом? Эх, Тевье, Тевье! Голова садовая! Ведь тебя соломой кормить надо! Если ты так дашь себя за нос водить, тебя и купят и продадут ни за грош, осел ты эдакий!

Подумал я так и повернул с Арончиком к дому. Распрощался он с моей командой, вскочил на коня и – марш в Бойберик.

Теперь оставим, как вы в своих книжках пишете, царевича и примемся за царевну, за Шпринцу то есть...

– Скажи-ка мне, дочка, хочу я тебя спросить, – говорю я ей, – Расскажи-ка мне, пожалуйста, о чем это с тобой договорился Арончик без моего ведома?

Но можно ли добиться ответа от дерева? Так и от нее! Покраснела, опустила глаза, как невеста, набрала полон рот воды и – молчок! Ладно, думаю, сейчас говорить не хочешь, после скажешь... Тевье – не баба: он и подождать может. Выждал я некоторое время, потом как-то улучил минутку, когда остались мы нею с глазу на глаз, и говорю:

– Скажи мне, Шпринца, хочу тебя спросить: знаешь ли ты хотя бы этого Арончика?

– Конечно, знаю! – отвечает она.

– Знаешь ли ты, что он – свищик?

– Что значит свищик?

– Пустой орех, – говорю, – что свистит.

– Ошибаешься! – отвечает она. – Арнольд – хороший человек.

– Уж он, – говорю, – у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан.

– Арнольд, – отвечает она, – не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают, что деньги да деньги!

– Вот как! – говорю. – И ты, Шпринца, уже стала философствовать? Ты тоже возненавидела деньги?

Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко, и спохватился я поздно – назад не воротишь. Я свою публику знаю! Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевье, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой! И подумал я: «Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть? Может быть, это от бога? Может быть, так суждено, чтобы именно через эту вот тихоню Шпринцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести? Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу?

А что? Не пристало тебе? Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупецким богачам, заботиться, чтоб им было чего жрать? Кто знает, может быть, мне предначертано свыше, чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, а может быть, и вовсе засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами?» Такие вот чудесные, золотые мечты лезут в голову... Как в молитве сказано: «Много дум в сердце человеческого», – или как наши мужики говорят: «Дурень думкою богатеет...» Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор:

– Что было бы, – говорю, – если бы наша Шпринца, к примеру, стала миллионщицей?

– А что это значит «миллионщица»?

– Миллионщица значит – жена миллионщика!

– А что такое миллионщик?

– Миллионщик, – говорю я, – это человек, у которого есть миллион...

– А сколько это миллион?

– Если ты дура, – говорю я, – и не знаешь, сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать?

– А кто тебя просит разговаривать? – отвечает она.

И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой.

– Был Арончик?

– Нет, не был.

Еще день проходит.

– Был парень?

– Нет, не был...

Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно: подумает, что Тевье набивается в родственники... Кроме того, я чувствовал, что для нее все это, «как роза среди терниев», нужно ей это, как пятое колесо телеги. Хотя я не понимаю почему? Потому что у меня нет миллиона? Так ведь зато у меня теперь свойственница – миллионщица! А у нее свойственник – кто? Нищий, бедняк, Тевье-молочник? Кому же зазнаваться – мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака, и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. «Черта бы их батьке с матерью, егупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье! До сих пор только и слыхать было, что Бродский да Бродский, будто остальные и не люди!»

Размышляю я так однажды по пути из Бойберика домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью: посыльный только-что был из Бойберика от вдовы, чтоб я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. «Все равно, запрягай и поезжай, ты там очень нужен!»

– Чего это им, – говорю, – так приспичило? Что это они так торопятся?

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Взглянул я на Шпринцу. Молчит, но глаза ее говорят, – ох и говорят! Никто, как я, так не понимал ее сердца... Я все время боялся, – мало ли что, – а вдруг вся эта история кончится ничем! И наговаривал я на этого Арончика, как мог, – уж он, мол, такой и эдакий. Но я видел, что это как горохом об стенку, – Шпринца тает, как свеча.

Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Бойберик. А по пути все думаю: «Чего это они меня так опешно вызывают? Насчет зарученья? Или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне? Ведь я все-таки отец невесты». Но тут же рассмеялся: где же это видано на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел? Конец света, что ли, настал? Времена мессии наступили? Как вот эти, нынешние молодчики, меня уговорить хотят, – наступит, мол, скоро время: богач с бедняком сравниваются, мое – твое, твое – мое? Все трын-трава! Мир как будто вовсе не так глуп, – а вот не перевелись же еще такие дураки! Эх-хе-хе!»

С такими вот мыслями добрался я до Бойберика и прямо на дачу, к вдове. Привязал лошаденку – где вдова? Нет никакой вдовы! Где парень? Нет никакого парня! Кто же меня звал?

– Я вас звал! – отвечает мне круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке.

– Кто же вы такой будете? – спрашиваю я.

– Я, – говорит он, – брат вдовы, Арончику дядей прихожусь. Меня депешей вызвали из Екатеринослава, я только-что приехал...

– В таком случае, – говорю, – с приездом вас!

Присаживаюсь, а он, увидев, что я сел, говорит:

– Садитесь!

– Спасибо, – говорю, – я уже сижу. Как же вы поживаете? Как там у вас насчет коснетуции?

На это он мне ничего не ответил, развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне:

– Вас, кажется, зовут Тевье?

– Да, – говорю, – когда меня вызывают к свиткам торы, то провозглашают: «Прийди, реб Тевье, сын Шнеера-Залмана...»

– Послушайте, – начал он, – реб Тевье, что я вам скажу: к чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.

– Ну что ж, – отвечаю. – Еще Соломон-мудрый говорил: «Всеу свое время». Если нужно говорить о деле, давайте – о деле. Я человек деловой...

– Это, – говорит он, – видать, что вы человек деловой... Вот я и хочу поговорить с вами по-купчески... Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется эта история? Но только откровенно!

– Если говорить откровенно, – отвечаю, – то я не знаю, о чем вы говорите?

– Реб Тевье, – обращается он ко мне снова, не вынимая рук из карманов. – Я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка?

– Это, – отвечаю я, – зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии.

Уставился он на меня и говорит:

– Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле... Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото... Пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, – дочь она вам или не дочь, – в такие тонкости я не вдаюсь... А она ему полюбилась, то есть понравилась... А о том, что он ей понравился, и толковать нечего, – это само собой... Я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез... Я в такие тонкости не вдаюсь... Но вы не должны забывать, – говорит он, – кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово, – ну что ж, они его друг другу и вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободят от слова, – пожалуйста! Мы ничего против не имеем. Девушка, – говорит он, – конечно, не парень, – дочь она вам или не дочь – в такие подробности а не вдаюсь...

«Господи боже ты мой! – думаю я. – Чего от меня хочет этот человек?»

А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. Пусть я не думаю, говорит он, что мне удастся устроить скандал, разстрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника. Чтоб я себе выбил из головы, будто сестра его такой человек, из которого можно выкачивать деньги... Добром, говорит, получить у нее несколько рублей – это еще куда ни шло: вроде как пожертвование... Все мы, говорит, люди, надо иной раз оказать помощь человеку...

Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, – горе мне, – ему не ответил. Как это говорится: «Прильпе язык мой к гортани моей», – отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям и – нет меня! Как от пожара удрал, как из тюрьмы!

У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова: «Откровенно говоря...», «Дочь она вам или не дочь...», «Вдова для выкачивания...», «Вроде как пожертвование...»

Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и – не будете смеяться надо мной? – расплакался. И плакал, и плакал... А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе, – обратился я, как Иов[17], к господу богу с вопросом: «Что ты такого увидел, господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»

Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой – не сглазить бы! Ужинают. Шпринцы нет.

– Где Шпринца? – спрашиваю.

А они мне:

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

– Что слышно? Зачем тебя звали?

– Где Шпринца? – спрашиваю я снова.

А они опять:

– Что слышно?

– Ничего, – говорю, – особенного не слышно. Тихо, слава богу. О погромах не слышать...

В эту минуту входит Шпринца. Заглянула мне в глаза и села за стол как ни в чем не бывало, будто не о ней речь. По лицу ее ничего не узнаешь, только притихла уж очень, сверх всякой меры. И не нравится мне ее задумчивость и какое-то слепое послушание. Скажешь ей: сиди – сидит; скажешь: ешь – ест; скажешь: пойди – пойдет. Окликнешь ее – бросается... Смотрю я на нее и щемит у меня сердце, и гнев внутри разгорается – на кого, сам не знаю... Ах ты господи боже ты наш! За что караешь меня, за чьи грехи?

Короче, вы хотите знать, чем это кончилось? Такого конца я и злейшему врагу не пожелаю, и нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей родителям худшее проклятье и кара божья.

Кто знает, быть может, меня кто-нибудь и проклял? Вы не верите в такие вещи? Ну, а что же это, по-вашему? Скажите – послушаем... Но о чем тут рассуждать? Расскажу вам конец.

Однажды к вечеру еду домой. Сами понимаете, каково у меня на душе: подумайте, какая обида, какой позор! А дитя свое как жаль! А вдова? – спросите вы. А сын ее? Где там вдова! Какой там сын! Уехали и даже не попрощались. Стыдно признаться, – даже за сыр и масло не рассчитались со мной... Но об этом что говорить! Забыли, наверное... Я говорю о том, что даже не попрощались, так и уехали. Что перенесла Шпринца, об этом ни одна душа не знала, кроме меня, потому что я отец, а отцовское сердце чувствует... Думаете, она хоть словом обмолвилась? Жаловалась? Плакала? Э, не знаете вы в таком случае дочерей Тевье! Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется, да такой, что клочок сердца вырывает!

Словом, еду я так, углубился в печальные размышления, задаю вопросы господину богу и сам на них отвечаю. И уже не столько бог меня трогает – с ним я уже кое-как поладил, – сколько люди: почему люди такие злые? Разве не могут они добро творить? Зачем им нужно портить жизнь и другим и себе, когда они могли бы жить и хорошо и счастливо? Неужто бог создал человека для того чтобы он мучился на земле? Зачем это ему нужно было?

С такими думами приезжаю к себе на хутор и вижу издали, возле гребли, скопище людей – крестьяне, крестьянки, девушки, парни и малые ребята. Что могло случиться? Пожара нет. Наверное, утопленник. Кто-нибудь купался возле гребли и утонул. Никто не знает, где смерть подстережет, как мы говорим в молитве...

И вдруг вижу, бежит моя Голда, шаль по ветру развевается, руки простерты... А впереди мои дети – Тайбл и Бейлка – голосят, рыдают, надрываются:

– Дочь! Сестра! Шпринца!

.....

О чем я хотел спросить вас? Да! Вы когда-нибудь видели утопленника? Никогда? Когда человек умирает, он почти всегда лежит с закрытыми глазами... У утопленников глаза открыты... Не знаете, почему это так?

Извините меня, я отнял у вас много времени. Да и сам я занят: надо идти к лошаденке, развезти свой товар. Жизнь требует своего! Нужно и о зароботке подумать, а о том, что было, забыть. Потому что все, что землей прикрито, должно быть забыто, а покуда жив человек, душу не выплюнешь. Никакие увертки не помогут, хочешь не хочешь, а приходится возвращаться к старой истине: покуда душа в теле, поезжай дальше, Тевье!

Будьте здоровы, а ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом.

1907

Франц Кафка (1883 – 1924)

### Певица Жозефина, или мышинный народ

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто ее не слышал, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него – мир и покой; нам слишком тяжело живется, и если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет: больше всего мы ценим у себя деловую сметку и лукавый юмор, они, кстати, и крайне нам нужны, и пусть бы даже нас – случай маловероятный – прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка, неважно, мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение; она и любит музыку и умеет ее исполнять; она у нас одна такая; с ее уходом музыка бог весть как надолго исчезнет из нашей жизни.

Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напроць лишены музыкального слуха; отчего же нам понятно Жозефино пение? Или же – поскольку Жозефина это решительно отрицает – отчего мы считаем его понятным? Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще не слышанные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефино пение. В действительности ничего подобного: я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы не скрываем друг от друга, что как пение Жозефино пение немногого стоит.

Да и можно ли назвать это пением? Хоть мы и немзыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти; в прошлом у нас существовало пение; об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо, однако Жозефино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли назвать это пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство, мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк – наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, – она даже уступает большинству в силе голоса, вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу, – если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефинина искусства ничего не останется;



## Франц Кафка. ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, ИЛИ МЫШИНЫЙ НАРОД

---

но тем большей загадкой явится вопрос: чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей?

Дело здесь, разумеется, не только в писке. Станьте поодаль и прислушайтесь или, того лучше, попробуйте – раз уж вы за это взялись – выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка, Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Станьте, однако, против нее, и это уже не покажется вам только писком: чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть вы услышите всего лишь обычный наш писк – необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, стал в величественную позу. Разгрызть орех не бог весть какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор, мы, верно, усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея, а отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмала им владеем, и только наш щелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный щелкун и любой из нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства.

То же самое, очевидно, и с Жозефининым пением: мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя, и в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины и этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу! С виду она воплощенная нежность, но тут представилась мне чуть ли не вульгарной; правда, она сразу же спохватилась и постаралась с присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне. Но тут в ней говорит не обычное тщеславие – ведь и оппозиция, к которой отчасти принадлежу и я, тоже ею восхищается; но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались – обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться! И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно: быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы; сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе.

Но уж раз пищать нам не в новинку и мы сами не замечаем, как пищим, естественно было бы думать, что писк стоит и среди Жозефиночной аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефинины слушатели не пищат, они сидят, затаясь, как мышка под метлой; можно подумать, что мы наконец сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах – Жозефино пение или эта торжественная тишина, едва прожитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая мышка, заслышав Жозефино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на руги-

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

ну, чувствовалась известная сдержанность, тогда как в публике пищали по-детски самозабвенно; в общем же никакой разницы; тем не менее мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины, хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затынула победный гимн: она в экстазе еще шире распростерла руки и еще выше запрокинула бы голову, если бы это позволила ее короткая шея.

И так всегда: малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения – словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повисить интерес к своему пению; ведь она считает, что ее слушают глухие; правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться, однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху; ведь все, что во внешнем мире в разладе с ее пением и что без особой драки и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удастся превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает себе на пользу, то что говорить о большом! Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей; но даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело; бывает, что тысячи плеч изнемогают под ношей, которая в сущности предназначалась одному. Именно в такие минуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет – грудь у нее выше живота так и ходит от натуги, кажется, что все свои силы она вкладывает в пение, все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа, точно она обнажена, отдана во власть стихий и под защиту добрых духов, точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в таком исступлении, мы, ее мнимые противники, говорим: «Она даже не пищит как следует: надо же так напрягаться – и не для того, чтобы петь, какое там! – а чтобы просто пищать, как пищит всякий». Таково наше первое неизбежное впечатление, но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой: привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем, затаив дыхание.

Чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза – словом, стать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место, ей даже не нужна открытая сцена, ее устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валит валом. Иногда, впрочем, возникают препятствия, Жозефина любит выступать в беспокойные

## Франц Кафка. ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, ИЛИ МЫШИНЫЙ НАРОД

---

времена, у каждого об эту пору свои нужды и заботы, каждый хлопочет по своим делам, нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине, бывает, что она подолгу простаивает в своей пышной позе, пока не соберется народ; она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается не подобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности; вместо того, чтобы обуздать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить: во все стороны шлют гонцов (конечно, без Жозефинина ведома), чтоб они привели побольше слушателей; по всем дорогам расставляют посты – торопить опаздывающих; и все это до тех пор, пока не наберется достаточно народу.

Но что же заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если б можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан; этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню – лишь бы чесать языком, – этот народ не способен на безоговорочную преданность, и Жозефина это чувствует, она с этим борется, не жалея своей слабой глотки.

Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко; народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния, тем более что смех у нас желанный гость; невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся; но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо (в его представлении незаурядную певицу), доверенное его заботе; откуда у него это представление – сказать трудно, можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться; смеяться над этим значило бы погрязнуть свой долг; самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать о Жозефине: «Когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле».

Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке; ребенок протягивает ручки, он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы: народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще, нужна мне ваша защита!» – заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас!» – думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

взбалмошность и детская неблагодарность; отец подобные выходы пропускает мимо ушей.

Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобным взаимоотношением Жозефины и народа. Жозефина, оказывается, другого мнения, она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей – вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами – она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям, но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки – у нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, а бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, – в том числе ложные и непроверенные – Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу, она вскакивает, вытягивает шею и, словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою паству. Бывает, что сверкающие, балованные дети предъявляют нелепые претензии; у Жозефины они все же как-то обоснованы. Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы; легче легкого выставить себя спасителем такого народа, как наш, – многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно, глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, в которой ему приходится существовать, и притом столь же плодовитого, сколь отважного, – легче легкого, говорю я, выставить себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у ученого историка – как ни мало мы интересуемся историей – волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефины властные замашки: мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов; мы словно в последний раз перед битвой торопимся – ведь время не терпит, Жозефина об этом часто забывает – осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание, причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка: этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным я положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более что в этом ее поддерживает рой льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах; но петля между прочим, где-то на отшибе, какой-то сбоку припекой – для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством.

Но она им и не швырнется, ее искусство все же находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, –

## Франц Кафка. ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, ИЛИ МЫШИНЫЙ НАРОД

---

кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, — а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности; в этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя — этот никакой голос, это никакое искусство утверждает себя и находит путь к нашим сердцам; и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали, мы бы единодушно отвергли подобное выступление как бессмыслицу. Жозефине — боже упаси — незачем знать, что, если мы ее слушаем, это, в сущности, говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и за писком забывать об этих догадках.

Но есть еще один довод в Жозефинину пользу: мы все же в известной мере ее слушаем и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца; при этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец и которое зависит именно от недостаточности ее умения и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями.

Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть, и не только признать это право, но и всячески претворять его в жизнь; такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает, возражать против этих требований и в самом деле невозможно, но претворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно; мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии, на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности; мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятная: это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми. Другие народы заботливо растят свою молодую поросль, там существуют школы, откуда ежедневно изливаются потоки детей — это будущее народов, и день за днем там все те же дети, состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ, зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей: поглядите, как они весело визжат и попи-

## ОТ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

скивают, ибо толком пищать еще не умеют; как катятся кубарем, а то и кувырком, под напором теснящих сзади, ибо ходить еще не умеют; как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их еще не видят, – наши дети! Да не так, как в тех школах – день за днем все те же дети, – нет, все время другие, непрерывно, бесконечно; не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мордашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это ни прекрасно и как ни завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы; в противовес тому лучшему, что в нас есть, – нашей надежной практической сметке – мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети, – бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. И если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина. Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием – детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости, мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную в общем-то и жизнеспособную нашу натуру; возможно, отсюда и нелюбовь к музыке; мы слишком стары для музыки, связанное с ней волнение, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся; недаром мы ограничили себя писком; немного писку от случая к случаю – вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить.

Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать сколько ей вздумается и как бы она это ни называла, – ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем; если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в какой мере нас не обременяет.

Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобразному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей, лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных рулад, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит; каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет да и вплетается Жозефинин писк; пусть она это называет трелью, а мы – стрекотом, не важно, здесь он на месте, как

## Франц Кафка. ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, ИЛИ МЫШИНЫЙ НАРОД

---

нигде, как музыке редко выпадает счастье прийти к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье, но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулками, раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Не удивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают и мы стараемся их не пропускать.

Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не о Жозефиных льстецах. «А как же! – восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. – Чем же вы объясните наплыв публики, полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры!» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефиной чести, особенно если принять во внимание, что, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом и немало наших платится жизнью, сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманившая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда б она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего ни пожелаешь, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязания Жозефины: в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немислимом ни для кого другом положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит; что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком: подобно тому как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особу ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине: быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно, и это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы: пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть! Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные – а такие и у нас бывали, – сраженные необычностью этого требования и умонастроения, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, считать его законным.

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

Не то народ – он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефиныны доводы. Так, Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу; пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого – все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение; она как будто сдается, работает, как полагается, поет, как умеет, но ее хватает ненадолго – глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу, тут ее силы, видимо, неисчерпаемы.

Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы, в нашем народе о лежебоках и слыхом не слыхали; добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни, работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше; единственное, что ей нужно, это публичное непререкаемое, непреходящее признание ее искусства, такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении; может быть, она уже и сама осознала свою ошибку; но путь назад ей закрыт, отступить поздно, это значило бы отречься от себя; поневоле приходится ей с этим пасть или победить.

Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить – не важно: вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко. И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом, идет не о существовании вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем – мало сказать, отеческую – поистине самозабвенную заботу.

Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело – то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дожидаться и этого, наипоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на



место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.

Но если Жозефине и не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась; и если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными, нам же представляются лишь более для нее опасными.

Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости, она-де теряет голос и, следовательно, ей самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображения внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший;

будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше.

Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более что в этом мире, как она считает, с щепетильностью далеко не уйдешь. Она, быть может, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ей таланта повторяют ее заявления, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинное наслаждение – не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее правилах унижать высокое и потакать низменному, а потому пусть уж все остается как есть. Иное дело – ее борьба за освобождение от работы; правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши.

Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее пении не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда, никто не вспомнил о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким – или слишком внезап-

## ОТ ПРЕИМУЩЕСТВА К СОПРИКОСНОВЕНИЮ

---

ным – для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумье взрослый человек не внемлет лепету ребенка: ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек.

Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина плоть от нашей плоти; когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу.

Но нельзя же вечно хромать, и Жозефина придумала нечто новое: она утомлена, у нее тяжелые настроения и душевный упадок. Так помимо концерта нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита, ее уговаривают, заклиная петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает, она из последних сил пытается запеть – стоит, поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты, – итак, она пытается запеть, но тщетно, голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет как ни в чем не бывало, я бы даже сказал – не хуже, чем всегда;

разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа: твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу.

Так было еще недавно; но днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно – Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь, на этот раз она и в самом деле нас покинула.

Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это даже не просчет; махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной. Она сама отказывается от

пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душой своих слушателей. И как только она приобрела эту власть – ведь эта душа для нее за семью печатями! Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы и от той же Жозефины, – народ продолжает идти своим путем. Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Но разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был живее и громче, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не оттого ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что оно в этом смысле не поддавалось утрате?

Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы, что же до Жозефины, то, освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

---



אשכולות  
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ЭШКОЛОТ  
[www.eshkolot.ru](http://www.eshkolot.ru)

при поддержке

